



И. С. ШМЕЛЕВ

МОЙ МАРС

И. С. ШМЕЛЕВ



МОЙ МАРС



Художник
СЕМЕН
ТРОФИМОВ



Москва
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1990

P1
Щ72

047906/3 ab

01
09

Составитель *П. Г. Горелов*

Оформление *Г. И. Метченко*

Ш $\frac{4803010101-368}{M-105(03)-90}$ 205-89

ISBN 5-268-00803-x

© Издательство «Советская Россия», 1990 г., составление.

Библиотека-филиал № 5
им. К. Г. Паустовского
Свердловской ЦБС



Мой Марс

I

Взгляните на ананас! Какой шишковатый и толстокожий! А под бугроватой корой его прячется душистая золотистая мякоть.

А гранат! Его кожура крепка, как подошва, как старая

усохшая резина. А внутри притаились крупные розовые слезы, эти мягкие хрустали, — его сочные зерна.

Вот на окне скромно прижался в уголок неуклюжий кактус, колючий, толстокожий. Стоит ненужный и угрюмый, как еж. И сколько лет стоит так, ненужный. И вдруг ночью, на восходе солнца, вспыхивает в нем огненная звезда, огромная, нежная, как исполинский цветок золотой розы. Улыбнулся угрюмый еж и улыбнулся-то на какой-нибудь час. И долго помнится эта поражающая улыбка. Эти суровые покрывки, угрюмые лица, нахмуренные брови!

Вот угрюмый господин сидит на бульваре, читает газету и через пенсне строго поглядывает на вас.

По виду-то уж очень суров. А я могу вас уверить, что это величайший добряк, и на бульвар-то заходит, чтобы поглядеть на детишек, послушать их нежные голоски.

А вот деловой человек. Он только что сидел в своей лавке и, забыв все, выстукивал на счетах и выводил в толстой книге цифры и цифры. И, кажется, нет для него ничего, кроме его цифр и барышей.

Кажется... А попробуйте заглянуть в него хорошенько. Да незачем и заглядывать. Придет такой случай, что он и сам раскроется, как угрюмый кактус, и выглянет из него то, что, казалось, совсем задавили в нем его толстые книги и цифры.

Да, наружность обманчива. Да вот вам пример: мой Марс, мой близкий друг, простой двухгодовалый сеттер. Он тоже... как бы это сказать... ну, обманчив, что ли... Да, простой, как можно подумать с первого взгляда. Весь рыжий, ласковые глаза. Очень смирный, когда спит на коврике, под вешалкой. Даже иногда улыбается во сне. Очень мило виляет роскошным хвостом. А вы попробуйте у него выдернуть косточку из пасти! Вы попробуйте. Я раз попробовал, больше не пробую. И, вообще, шельма

порядочная. А как он делает стойку на... мух! Я не охочусь, и он поневоле упряжняется над этой дичью, чтобы не зарыть в землю таланта. Стоит полюбоваться! Весь он — ласка и нежность. Не думает ни о костях, ни о почтальоне, которого считает врагом дома. Млеет и тает с поднятой лапкой, и в карих глазках его не то грусть, не то мольба. И мухи с восторгом взирают на него и польщены, польщены...

Ляск! — и мухи как не бывало. А вот еще картинка.

Бывало, мой старый кот Мурза, друг и приятель Марса, проснется от кошмарного сна (на печке до 40°), свалится мешком на пол, бредет, как очумелый, не разбирая куда, и сослепу направляется прямо на Марса. Тот уже из-за лапы прекрасно видит ошибку и рад, и не пошевелится. И только старик ткнется ему мордой в живот, так гавкнет, что старый Мурза с шипом и свистом стрелой взлетает на шпак, сбрасывая по дороге бремя лет.

Вот каков этот Марс. Но красив, очень красив. Так красив, что однажды какая-то старушка купила для него на бульварчике вафлю и только загубила пятак. Из ее рук Марс не принял, а какая-то кривая собака выхватила с налету вафлю и умчалась. Это было так неожиданно, что даже Марс растерялся и долго, как зачарованный, глядел на дорогу.

Итак, он строен и игрив, умен, как всякий ирландский сеттер, кокетливо носит пышный хвост и очень любит, когда подают обедать. Не совершал подвигов, но имеет золотую медаль. Хотя и английского происхождения, но не горд и внимательно следит за кусками, поводя носом и выпрашивая глазами. Иногда в нетерпении теребит лапой скатерть и колени и тихим повизгиванием напоминает об обязанностях к ближним. Ближними своими он считает себя, затем... опять себя и еще раз себя. Выразительным взглядом держит Мурзу на приличной дистанции от своей

чашки и считает приятным долгом разделить с ним его скудную трапезу, не обращая внимания на бессильное фырканье. Но, думается, он делает это из вежливости: просто он всегда готов услужить и составить компанию. Нравственность его безупречна, хотя несколько и оригинальна.

Рассуждая, что пол существует, чтобы на нем лежать, стол, чтобы на нем обедать, а буфет — чтобы прятать съедобное, — он не выносит беспорядка и прибирает все, что попадает на пол или остается на столе. Любит меня до страсти и всех незнакомых считает моими врагами и старается их изловить. Делается это очень ловко.

Он охотно пускает их в комнаты, ходит за ними по пятам и не позволяет взять со стола даже газеты, если меня нет в квартире. А уж выйти не позволит ни в каком случае, становясь к двери с красноречивым рычанием.

Есть в нем замечательно похвальная черта, чем он резко отличается от многих, себе подобных, и даже от некоторых, себе не подобных: он очень великодушен. Он поразительно любит детей и однажды порядком перепугал на бульваре расторопную няньку, покушавшуюся дать шлепка бойкому малышу. Очень добродушно относится он и к маленьким собачкам, хотя бы это была простая дворовая мелюзга, и не выносит старого мопса-соседа, аккуратно выбегающего погрызться на улице со старой, умирающей дворнягой.

В общем, как видите, это очень интересный малый и порядочный надоеда, прекрасно известный всем лавочникам на моей улице. Последнее время его даже перестали пускать в магазины, к величайшему удовольствию мальчишек, которые предупредительно растворяют перед ним двери лавочек и выжидают, что будет.

Должно быть, он все же имеет много хорошего в себе: судьба положительно ему благоприятствует. Ему, как говорится, везет.

Недавно он провалился в колодец и... спасся чудом. Гнилая доска, рухнувшая с ним в глубину, по дороге застряла, и Марс удержался на ней на глубине всего двух аршин, а было в колодце до сорока! Он выл, точно из него тянули жилы. Конечно, его вытащили. Как-то раз ухитрился он сорвать лапами ненавистный ошейник (он не терпит ярма) и, выбежав за ворота, наскочил на собачьих охотников, без всякого разговора доставивших медалиста на живодерню, как последнюю бродягу.

Я почти не спал, разыскивая его по городу, и, наконец, нашел его за заставой, в отделении «обреченных». Он лежал в клетке за №, вытянув морду в лапах, и как будто спал. В углах закрытых глаз было влажно. Должно быть, он плакал во сне.

— Марс!

Что было! Он ринулся ко мне, забыв о клетке, ударился носом о прутья решетки и застонал от радости.

— Что, бестия! будешь теперь рвать ошейник?!

И Марс ответил таким чудесным лаем, что даже смотритель «зверинца» сказал несколько комплиментов и с грустью закончил:

— Славная собачка... А вот еще бы денек... и на перчатки!

Он даже прищелкнул языком и сделал жест, точно откупоривал бутылку.

Должно быть, Марс понял этот жест доброго человека в кожаном фартуке. Он гавкнул насмешливо, словно хотел сказать:

— Ага!

Должно быть, так. Это было заметно по его плутоватым глазам.

Вообще, умная шельма, и в его бугроватой башке ума, пожалуй, побольше, чем у этого господина в кожаном фартуке, выстроившего «на собачках» домик за заставой.

Пришли домой.

— Что, мошенник, — говорю я. — Опоздай я на денек, и висеть бы тебе со своим глупым хвостом!

Признательный взгляд, и — виль-виль.

— Что глядишь-то глупыми глазами? Вот вытяну плеткой.

Поворот на спину и полная покорность.

И вот однажды этот самый Марс дал мне возможность сделать одно интересное открытие. Да, именно он. Он показал мне... Но это, собственно, и является предметом моего рассказа.

II

Жил я в Виндаве, на берегу Балтийского моря. Жили мы втроем: я, заправлявший моим хозяйством, прекрасный человек Иван Сидорович и Марс. Марса вы немного знаете; я вам мало интересен, так как главным героем рассказа будет Марс; что же касается Ивана Сидоровича, — вы его поймете с двух слов. Он прекрасно готовит борщ, любит заглядывать в пивную кружку и ведет войну с Марсом, гоняя его из кухни шваброй. Но это не важно.

Как-то понадобилось мне поехать денька на два в город Або, небольшой городок на побережьи Финляндии, где море усеяно массой гранитных островков, или шхер, поросших мелкой сосной и изгрызенных бурями.

Очень красивые места.

Ехал я налегке с ручным багажом. Марс, как и всегда, когда я собирался куда-нибудь ехать, ревниво следил за спешной сборкой маленького чемодана, и в его бугроватой голове, видимо, стояла тревожная мысль: а он как? Память у него всегда была отменная, и, надо думать, вывод, к которому он приходил в этот момент из сопоставления всех обстоятельств, был не в его пользу.

Так, думается, рассуждал он:

«Мой приятель, — т. е. я, — на меня не смотрит, значит, я ему не нужен. Иван Сидорович очень весел, не толкает шваброй и даже погладил, значит, — уйдет из дому и запрет двери и меня. Раз чемодан достали, — приятель гулять за город не пойдет. Значит...»

И Марс потерял всю свою игривость. Он было попробовал попрыгать около меня, не сводя глаз, но это ни к чему не повело. Я строго взглянул на него и молча указал на пол. И тут-то он окончательно упал духом. Он лежал «рыбкой», вытянув хвост и положив морду в лапы, уставив немигающие глаза на мой чемодан, и ждал. Стоило бы только особым тоном сказать: — ну-с! — или даже сделать соответствующий жест шляпой и взглянуть на него, он с визгом ринулся бы к двери, взглядом приглашая меня не медлить. Но было не до Марса. И он лежал, чуть слышно повизгивая, точно хотел разжалобить, точно переживал томительные минуты надвигающейся разлуки. Что творилось в его собачьем сердце, — точно не знаю, но я уверен, что он тоскует искренно и уж во всяком случае не радуется, как почтеннейший Иван Сидорович, который только и ждет моего ухода, чтобы запереть квартиру, поручить ее Марсу и закатиться в любимую пивную.

Я взял шляпу, трость и чемодан. Марс нерешительно поднялся, все еще не теряя надежды, и колебался — идти ли?

— Дома, дома!..

Холодный тон и палец, указывающий на пол. Этого было достаточно. Марс вдумчиво посмотрел на меня, и по глазам его было видно, как он несчастен.

— Счастливого пути, — рассыпался Иван Сидорович. — Маленько поскучаем без вас.

И с веселым грохотом наложил на дверь крюк. Я даже слышал, как он принялся насвистывать что-то веселенькое.

Еще я услышал призывный лай. Обернулся и увидел Марса. Он стоял передними лапами на подоконнике, между цветочными горшками, и его умная, плаксивая теперь морда упиралась в стекло. Теперь бедняга будет тоскливо подремывать под вешалкой.

Я шел не торопясь, отлично зная, что пароход, по обыкновению, пойдет с опозданием. Но еще не добравшись до конца последнего переулка, я услышал второй гудок. Оставалось всего три минуты. Я пустился бегом, проклиная сегодняшнюю аккуратность капитана и мои старые похрамывающие часы. Переулок кончился. Я уже видел толпу провожавших, размахивавших шляпами и платками отъезжавшим. Только бы поспеть!

Я ринулся вперед, сшибая встречных, как вдруг из-под самых ног с визгом и лаем вынырнул Марс. Он вертелся и лаял так, точно его проткнули раскаленным железом. Он крутился желтым клубком, мчался винтом, сверля воздух своим вертявым хвостом, прыгал, кидался на прохожих и фонари, проделывая все свои ловкие шутки, бросался к моему лицу и яростно гавкал. Эта бестия была в самом прекрасном настроении.

Я был обескуражен. Я готов был хватить его палкой. Что было делать? Вернуться обратно и ждать до завтра? Но мне положительно было необходимо ехать сегодня же. Поручить Марса носильщику, давать адрес, рыться в кошельке, объяснять? Но я уже вижу руку помощника капитана, протягивающуюся к свистку. Я уже слышу этот свисток.

Я бомбой вбегаю на мостки следом за Марсом, и глаза всех устремлены на нас. А Марс чувствует себя, как дома. Он уже на пароходе и призывно лает, боится, как бы не остаться одному. Уже отнят трап, и пароход грозно ревет, смертельно пугая Марса, как-то сразу присевшего на все лапы, точно его собираются бить по башке.

— Послушайте... Это ваша собака?

Третий помощник капитана, румяный и свежий, как морской ветерок, в своем белоснежном кителе, с строгим видом указывает на Марса, примостившегося на куче корабельных канатов. Розовый язык свесился из-за черных щек и ходит, как быстрый поршень. А усталые глаза как-то растерянно глядят на нас обоих.

— Да, она со мной.

Что же было делать? Не отречься же от этого негодяя, сидевшего теперь с каким-то невероятно глупым видом.

— В таком случае придется вам взять ему собачий билет и поместить в клетку.

— Очень хорошо.

Третий помощник капитана подошел к Марсу и с видом знатока, умеющего обращаться с собаками, потрепал его по спине.

— Ну, идем! фью!..

Марс даже не взглянул и только равнодушно ляскнул на подвернувшуюся муху.

— Идем, брат, нечего...

Он потянул его за ошейник, и тотчас же конфузливо отдернул руку: Марс слегка и предостерегающе зарычал.

— Очевидно, он меня боится...

Я не сказал третьему помощнику капитана, что Марс, очевидно, принимает его за почтальона в его белоснежном кителе с блестящими пуговицами.

— Эй, Василий! — крикнул храбрый третий помощник капитана. — Бери собаку. Там, кажется, есть свободная клетка.

Подошел коренастый рыжий матрос в синей блузе. Хотя он и имел вид колосса и морского волка и, может быть, выдержал не один страшный шторм, но к Марсу

приступил с некоторым колебанием, ворча себе под нос что-то, по его мнению, успокоительное.

— Тц... тц... Ну, ну... Ты!..

Пораженный его рыжей бородой и огромным ростом, Марс, должно быть, вообразил что-нибудь опасное, оскалил зубы и зарычал.

— Боязно, шут его дери... Сурьезный... Ну, ну, как тебя... Собачка...

Но «собачка» не унималась.

Тогда я взял Марса за ворот и решительно потащил на носовую часть парохода.

— Ну, вот теперь и посиди, каналья ты этакий! Вот и посиди!

Его поместили в небольшой клетке, за решетку. Напомнила ли ему решетка недавнее прошлое, или Марс вообще не терпел лишения свободы,— не знаю, но он долго упирался, цепляясь когтями и выворачивая голову. Как-никак, но дело было сделано, и теперь он мог, сколько душе угодно, рычать и визжать.

Теперь он положительно связал меня. Но как он мог удрать из квартиры? Ну, конечно, почтеннейший Иван Сидорович улетучился из дому и забыл запереть окно в кухне. И Марс ушел по хорошо знакомой дороге, что неоднократно проделывал и раньше. Но я должен все же признаться, что мне было отчасти и приятно, что Марс сумел отыскать мой след на протяжении двух людных улиц и трех проулков. Такое чутье и привязанность не могут не тронуть хозяйского сердца.

III

Я сидел на верхней палубе, под тентом. Море было покойно. Погода великолепная. Пароход шел хорошим ходом с легкой дрожью от мощной работы винта. На-

роду было порядочно. Две девчушки, в красненьких коротких платьях с пышными бантами и в белых туфельках, резвились на палубе, как пунцовые бабочки, шаловливо заглядывая в лица. Худощавая особа, в соломенной шляпке с васильками, прямая, как вязальная спица, сухим скучным тоном то и дело останавливала их по-немецки.

— Дети, не шалите, вы мешаете другим.

Мальчуган, лет десяти, тонкий и вертлявый, как молодая обезьяна, с плутоватой рожицей, дразнил тросточкой что-то пристроившееся под ногами немки, и оттуда слышалось злобное — rrrrrrr-ым-га-га... — что очень напоминало мне старого мопса-соседа, кровного врага Марса.

Почтенный человек торговой складки в засаленном картузе и поблескивавшем пиджаке исследовал свою записную книжку, водя жирным пальцем, и бормотал загадочно, оглядываясь по сторонам:

— По шесть рублей ежели... сто двадцать... Да накинуть ежели... по 4 копейки... да за бочки...

Для него, казалось, не существовало ни моря, пенящегося за кормой играющим кружевом, ни резвых грациозных дельфинов, стрелой обгонявших пароход, ни милых красных бабочек, теперь с боязливым любопытством засматривавших в его строгое, деловое лицо.

— Тридцать бочек, по 18 рублей с пуда... да ежели положить на провоз, да утекет обязательно... — ворчал деловой человек, подымая лицо и что-то разглядывая в натянутом над палубой тенте.

— Rrrrrr-ы-гам-гам... — с остервенением отзывалось из-под скамейки.

Сидевший неподалеку господин с газетой строго из-под очков поглядел на бойкого мальчишку и покачал головой. Но тросточка продолжала свое дело.

— Дети, не шалите. Вы мешаете другим.

На палубе появилась барыня, погрозила мальчугану пальцем и села рядом со мной. Она читала при помощи лорнета маленькую, изящную книжку.

Я сидел и наблюдал. Все ушли в себя. У каждого свои интересы. Вот только две девчурки рады болтать со всеми, милые и простые. Какой-то старичок в бархатном картузе присел рядом со мной и принялся за газету.

Что-то рычавшее под скамейкой потеряло, наконец, терпение. С неистовым ревом вынырнул мопс и цапнул-таки мальчишку за ногу. Поднялся переполох. Барыня с лорнетом начала историю со спицей, мальчишка ревел и рвался к мопсу, мопс укрылся под лавку и ожидал, когда его начнут драть. Деловой человек оторвался от книжки и строго поглядел на всех.

— Постегать парня бы...

Старичок сообщил мне, что страдает головными болями, не терпит шума и потому все лето совершает морские прогулки, так как только на пароходе находит тишину. От поднявшегося переполоха, оказывается, у него снова начались «колющие боли». Только девчушки с боязливым любопытством глядели и слушали, отойдя от рычавшего мопса на приличное расстояние.

Наконец, все успокоилось, и вдруг тонкой острой ноткой донесся вой. Он шел с другого конца парохода, с носу. Еще нотка, еще... Тонем выше... И я узнал голос Марса. Старичок передернулся и поглядел на меня, точно я был причиной воя.

— Вы слышите?

— Слышу. Чья-то собака воет.

— Конечно, собака... Но ведь это же неприятно!

Господин с газетой обвел всех глазами через очки, точно хотел сказать:

«Это что такое?»

Вой усиливался и начинал переходить в какое-то завывающее рыданье.

— А, чтоб тебя! — вырвалось у делового человека. — Волк чистый.

Маленькая девочка сделала огромные глаза и навестила уши.

— Фрейлейн, это волк? — спросила она плаксиво сухощавую немку. — Я боюсь...

Вой рос и тянул за сердце.

— Удивительные порядки! — строго сказал старичок. — Насажают полный пароход собак, и вот извольте тут...

Вой поднялся еще тоном выше и задрожал самой захватывающей за душу вибрацией. Из-под лавки отозвался мопс. Он показал свой черный курносый нос, выпучил глаза, словно собирался чихнуть, и всплакнул. А с носовой части лились уже целые воющие и перекатывающиеся аккорды. Очевидно, мой Марс нашел себе отклик у других заключенных. Мопс взял тоном выше и получил легкий щелчок по носу от фрейлейн.

— Замолчи, Тузик! У, глупенький.

— За хвост да в воду, — сказал деловой человек. — Вот собак навели...

— Я не понимаю, не понимаю. Какие идиоты всюду таскают собак за собой! — сердился старичок. — Еще бы коров захватывали! Ведь верно?

Он глядел на меня, ожидая хотя бы сочувственного отклика.

Надо сказать правду, — вой становился невыносимый. Купец сложил книжку и угрюмо глядел на море. Господин в очках крупными шагами ходил по палубе. На мостике появился коренастый капитан, и по его лицу было видно, что он слушает и недоволен. Около него появился помощник и что-то объяснял. Капитан энергично разма-

хивал рукой и показывал на носовую часть парохода.

Смотрю,— мой старичок поднимается и направляется к капитанскому мостику.

— Господин капитан! — умоляющим тоном восклицает он.— Прикажите принять какие-нибудь меры, прошу вас! Голова раскалывается... Ведь прямо невыносимо!

Он прав, он тысячу раз прав. Вой и рев дерут по нервам. Кажется, что весь пароход, с трюма и до палубы, перегружен собаками, и они стараются вовсю, точно их жгут железом или тянут жилы. Смотрю, появляется на мостике, должно быть, специально вытребованный, третий помощник капитана и объясняет что-то, держа руку под козырек. И снова рука капитана энергично рассекает воздух. Старичок зажимает уши и трясет головой.

— Это ужасно! — жалуется барыня с лорнетом.— Послушайте, уймите хоть вашего-то! — обращается она ко мне.

— Я его сейчас палкой! — кричит мальчуган.

— Вилли, Вилли!

— Тузик, замолчи, мой маленький! Моя бедная собачка. Он плачет! Смотрите, он даже плачет!

— За хвост да в воду! — энергично отзывается деловой малый и сердито глядит на немку.

Третий помощник капитана показывает в мою сторону и что-то объясняет. Ну, конечно, говорит, чья собака. Я уже начинаю чувствовать себя виноватым. Но в чем же я в самом деле виноват? Что природа наградила собак крепкими глотками и не приучила их к клеткам? Я уже вижу обращенные на меня неприязненные взгляды.

Третий помощник капитана спускается с мостика и направляется ко мне. Он разводит руками и старается придать голосу мягкость.

— Видите... Послушайте... Ваша собачка переположила всех собак. С нами едут еще четыре пса, и теперь

воют все. И еще в каюте едет больная особа... Капитан просит... Может быть, вам удастся унять...

Старичок смотрит на меня так выразительно, что я живо вспоминаю его фразу о некоторых, которые и т. д.

— Ах, пожалуйста, уймите! — говорит еще кто-то. — Это ваша собака.

На меня обращены взгляды. От меня ждут. Меня обвиняют. Мопс поет в забвении и даже закрывает глаза, как соловей по весне. Весь пароход поет. Рыжий матрос посмеивается у борта и перемигивается с другим. Они, видимо, довольны переполохом.

Иду на нос. Здесь ад невероятный. Пассажиры третьего класса густой толпой обступили клетки с собаками и слушают. Протискиваемся с помощником капитана через толпу, и я — у клеток. В самой крайней красавец сенбернар упирается головой в низкий потолок и издает какое-то воющее рычанье. Рядом с ним остроухий дымчатый дог с налитыми кровью глазами мечется по клетке, тыкаясь головой в стенки ее, и скулит отрывистым тьяканьем. И, наконец, — Марс. Он великолепен. Он лежит, вытянув морду и закатив глаза, и воет, и воет в самозабвении.

Этот вот, рыжий-то, всех и взгомозил, — говорит кто-то. — Он самый коновод и есть.

Я подхожу к клетке и делаюсь героем толпы. Все ждут от меня чего-то необыкновенного.

— Марс!

Он точно проснулся и встряхнулся. Вой оборвался сразу, и Марс заскулил жалобно-жалобно. И в соседних клетках прекратились рыдания.

— Что значит хозяин-то, — говорит кто-то. — Привязчивы эти самые собаки, страсть.

Марс бьет лапами по решетке. Но что же я могу сделать? Я отлично знаю, что стоит мне отойти, как снова



начнется история. Говорю третьему помощнику, что ничего не выйдет, и делаю при всех опыт. Все сильно заинтересованы. Отхожу в сторону, так что Марс не видит меня. Проходит с минуту, начинается легкое повизгивание и переходит в вой. Дог и сенбернар подтягивают. Лица зрителей улыбаются.

— Его необходимо выпустить, — говорю помощнику. — Иного средства нет.

Помощник идет за разрешением и скоро возвращается. Разрешено выпустить. Марс прыгает сразу на всех лапах и извивается с громким лаем. Мне даже стыдно за него. Идем во второй класс. Марс считает, очевидно, пароход за улицу и ведет себя самым легкомысленным образом, за что и получает тычок шваброй от матроса с рыжей бородой. И даже имеет нахальство огрызаться.

Мы явились на палубу под десятком устремленных на нас глаз. Но Марс чувствует себя великолепно. Он юлит и не знает, чем доказать мне свою признательность. Но я неумолим и во избежание разных неожиданностей затискаваю его под лавку. Публика успокоилась и занялась своим делом. Человек в засаленном картузе снова принялся копать в записной книжке и теперь высчитывал операции с чухонским маслом. Господин в очках уткнулся в газету. Старичок отдался красотам природы и отдышающимися взглядами блуждал по горизонту. Мальчуган с порванным чулком снова пырял мопса тросточкой, стараясь отплатить. Красные бабочки занялись игрой в мяч, уронили его в море и поплакали.

— Дети, вот вы шалили и лишились мяча, — изрекла немка.

Но они скоро утешились.

Марс лежал смирно. Он одним глазом наблюдал за девчурками, выжидая удобного случая примкнуть к игре

в прятки. И знакомство завязалось. Одна из девчушек, похрабрее, подошла к нему и вытаращила глаза.

— Собачка...

И поманила пальчиком.

Марс шевельнул хвостом и постучал.

Подошла вторая бабочка и сказала тихо:

— Красная собачка...

Марс постучал решительней и зевнул. Наконец, поднялся, подошел вплотную и ждал. Девчурки отступили, поглядывая то на меня, то на Марса. Но Марс раздумывал недолго. Он не забыл милой привычки играть с ребятами на бульваре, позволять трепать себя за уши и даже таскать за хвост, чего бы он, конечно, не позволил взрослым, особенно мальчишкам, как тот, что подкрадывался теперь с тросточкой сзади.

Он прыгнул, извиваясь кольцом, и с налету лизнул своим розовым языком румяную щечку красной бабочки в белых туфельках.

— Ай!

Обе стрекозы закатились ярким серебряным смехом.

— Фрейлейн! фрейлейн! Он поцеловал Нину!

— Он меня облизал, фрейлейн! Облизал!

Марс вертелся ужом, отлично понимая произведенный эффект. Но торжество скоро кончилось.

Фрейлейн поднялась с решительным видом и двинулась к нам в сопровождении жирного, прячущегося за юбку мопса.

— Нельзя позволять грязной собаке лизать лицо, Нина! Ты будешь наказана дома. Выучишь десять строк дальше.

Очевидно, остальное было понятно и Нине и фрейлейн. Розовое личико омрачилось, и носик сморщился. Кое-что и я прочитал в красноречивом взгляде, которым подарила меня фрейлейн, стройная, как вязальная спи-

ца. Если бы только могла, она закатила бы мне строк с сотню «дальше». Хотя при чем я? Но, должно быть, она изучала юриспруденцию и почитывала устав о наказаниях, где вполне ясно сказано об ответственности хозяев за вредные действия домашних скотов. А Марс был скот в самом настоящем смысле.

Но Марс взгляда фрейлейн не понял. Когда стройная немка нагнулась вытереть щечку Нины от следов предательского поцелуя, он, должно быть, вообразил злой умысел и хотел явиться защитником. Он рывкнул на фрейлейн над самым ухом. Боже, что было! Положительно в этот злосчастный день на меня валились все шишки. Немка стрелой отскочила в сторону, а таившийся за ее юбкой и гудевший что-то сквозь зубы мопс разразился трелью и запрыгал, как резиновый лающий мяч, предусмотрительно отскакивая назад. Марс издал предупреждающее рычание и ринулся. Началась свалка. Теперь палуба представляла собой самую настоящую арену.

Я бросился с одной стороны и ухватил Марса. Мальчишка с продранным чулком, пользуясь случаем, пырлял тросточкой ненавистного мопса. Бабочки таращили испуганные глазки. И на мостике показалась коренастая фигура капитана. Что представляли из себя остальные, я уже не мог видеть. Я только слышал, как барыня с лорнетом кричала:

— Вилли, Вилли! Они, должно быть, сбесились! Вилли!

Этого было достаточно. Собралась толпа. Кто-то призывал матросов. Кто-то ревел и топал ножками. Но разбойник Вилли был в восторге. Этот назойливый мальчишка выполнял танец диких, размахивая тросточкой. Но ведь все имеет конец. Скоро мопс с пораненной ногой (кто его поранил, — Марс или мальчишка, — так и осталось неизвестным) сидел на коленях фрейлейн и стонал, и рычал, пожирая Марса выкатившимися глазами. Я запих-

нул-таки Марса под лавку и сидел, чувствуя себя отвратительно и заставляя себя любоваться морем.

Смотрю,— подвигается капитан. Кланяется.

— Очень приятно. Чем могу служить?

— Видите... гм... того... Ваша собака... того... гм...

Я понимаю капитана и пожимаю плечами.

— Видите... того... Пассажиры беспокоятся... гм...

Вы ее... того...

Он даже шевелил пальцами, подыскивая слово. Вполне извинительно. Человек лет тридцать плавает по морю, в некотором роде беседует с бурями, слышит язык штормов, отдает приказания криком. Морской волк, в некотором роде, хотя вежлив до крайности.

— Вы ее... того... попридержите... А то я... простите... того... буду вынужден просить вас... того... оставить ее на берегу при первой остановке в Ганге.

Кланяюсь и обещаю, и позволяю себе заметить капитану, что мой Марс вовсе не «того» и никакой опасности для пассажиров не представляет.

А Марс, можете себе представить, лежит себе, разбойник, и ухом не ведет и даже делает попыткулизать смазанные какой-то душистой мастикой лаковые штиблеты строгого капитана.

— Так вот-с... извините... того...

Капитан раскланивается и уходит. Два черные глаза, выпученные, как у рака, гипнотизируют Марса с колен фрейлейн.

— И охота вам возить собак! — говорит несколько примирительно старичок, довольный наступившей тишиной.

Охота мне возить! И потом, почему же «собак»? Желал бы я знать, как поступил бы на моем месте этот господин. Быть может, он бросил бы пса на пристани. Но я не мог сделать этого: я люблю этого бойкого шельмеца, преданного мне от хвоста и до носу.

Нина и Лида чинно сидели рядом с фрейлейн и куксились, должно быть, оплакивая погибший мяч. Мальчишка с продраженным чулком измышлял какую-то каверзу с мопсом. Он что-то уж очень близко прохаживался около Марса и науськивал легким посвистыванием:

— Фюить! Фюить!

Но, в общем, была тишина.

— Ну, Вилли! Но я прошу тебя, мой мальчик! Не ходи так близко около собаки!

IV

Пароход шел отличным ходом. На палубе было спокойно, но это была тишина перед бурей. Это было видно по глазам мопса и Марса. Они упорно вглядывались один в другого и точно дразнились вздрагивающими языками. И, очевидно, на Марса действовал взгляд пары черных выпученных глаз. Он рычал иногда.

Задремал колокольчик. Это ходил по пароходу слуга кают-компании, созывая к обеду. Было уже около пяти, и морской воздух раздражил аппетит в достаточной степени, чтобы палуба быстро очистилась от пассажиров. Пошел и я. Фрейлейн с мопсом ушла еще раньше. Но вот... Марс подымается и двигается за мной. Он также желает кушать. Запах жарящихся котлет щекочет раздражающе, а Марсу как раз пора покормиться.

Вести его за табльдот? Нет, ни в коем случае.

— Куш иси! — говорю ему и показываю пальцем под скамейку.

Он смотрит на меня с недоумением и укором. Я прекрасно понимаю все его взгляды. И вижу, что он не желает сдаваться. Беру за шиворот и тащу под скамейку.

— Куш иси, черт тебя дери! Куш.

Он укладывается с недовольным видом и подавленным вздохом. Должно быть, думает:

«Надо было догонять! Теперь Мурза как раз расхлебывает в моей чашке».

Делаю шаг и оборачиваюсь. Голова Марса вытянута и взгляд прикован к моей фигуре. Ждет, не свистну ли. Пусть ждет. Особенно досадно, что мопса-то утащили туда, откуда потягивает котлетками.

Спускаюсь в общий зал. Ого! Как энергично стучат ножи по тарелкам! Вижу делового человека. Он набил пирожком полон рот, и его глазки жмурятся от удовольствия. От тарелок валит душистый пар. Позади фрейлейн мопс управляется с пирожком. Красные бабочки уже залили скатерть и, конечно, получили уже новые десять строк «дальше».

Уже съеден суп, и на блюдах приятно дымится какая-то рыба, на которую все смотрят с признательностью. Смотрю и я. Я сижу спиной к борту парохода, к открытым иллюминаторам. Против меня, несколько наискосок, лестница на палубу. Так вот, поднимаю глаза, чтобы посмотреть на рыбу и вижу... Марса! Он стоит на верхней ступеньке и вбирает в себя ароматы кают-компаний. Стоит, как волк на бугре, поглядывающий на деревню, где повизгивают от холода собаки.

Он смотрит, выискивая меня глазами. Что было делать? Крикнуть? Но не угодно ли крикнуть из-за стола, когда сидят за ним человек сорок? Увлеченные чудесным занятием с рыбой, они примут меня за сумасшедшего. Погрозить пальцем? Но это воздействие может еще быть принято за поощрение. И даже наверняка. В таких случаях Марс обыкновенно прикидывается непонимающим. Сказать слуге с блюдом? Но его положительно загоняли за пивом и нарзаном. Вылезть из-за стола? А вы попробуйте вылезть на пароходе из-за стола. Все сидят в ряд.

Стулья привинчены. Я в самом центре, спиной к иллюминаторам. Только два выхода и есть: под стол или просить всех выйти. Пока я так раздумывал, Марс медленно, точно чего-то опасаясь, опускался со ступеньки на ступеньку. Его никто не замечает. Все увлечены рыбой. Решил предоставить все случаю, хотя и могу наскочить на неприятность.

Я знаю, что некоторые господа терпеть не могут присутствия собаки у стола. Без сомнения, здесь были такие. Да вот хотя бы старичок, страдающий колющими болями. Он уже успел наподдать ногой вертевшегося под столом мопса, к величайшему удовольствию мальчишки с продранным чулком, ухитрившегося в каких-то целях стащить под стол хребтовую кость леща с острыми боковыми косточками.

А вот, наконец, и котлеты с горошком и зеленой фасолью. Весь зал наполнился чудесным ароматом, и что-то осторожно фыркнуло под столом. Очень осторожно и ткнуло меня в коленку. Смотрю, — подымается край скатерти и выставляется кончик черного носа. И опять осторожное и полное величайшего удовлетворения:

— ...Фррр... фррр...

Я щелкнул по носу, и скатерть опустилась.

Хорошо, что никто ничего не видит. Какое там не видит! Мальчишка сидит неподалеку от меня и поглядывает что-то уж очень любопытно. Даже начинает как будто подмигивать мне, шельмец. Глазами переходит на интимность. Ну, конечно, заметил. Вижу, лезет под стол, делая вид, что уронил вилку, а я отлично видел, что он нарочно столкнул ее. На его плутоватой рожице написано захватывающее торжество.

— Вилли, ты не умеешь себя вести.

Одна из красных бабочек вдруг забеспокоилась и на-

чала вертеться. Лида тоже. Заглядывают под стол. Начинается история.

Будет буря, мы поспорим
И поборемся мы с ней!..

— Нина, нельзя вертеться за столом,— изрекла фрейлейн.— Горошек едят вилкой, а не с ножа.

Скорей бы кончался обед! Как будто необходимо еще сладкое...

...Rrrrrrrr...

...Rrrrrrrrrr...

Опустились вилки и поднялись головы над котлетками. Я ем за четверых, заговариваю со старичком о погоде.

— Чудесно на море и совсем не качает, не правда ли? Но старичок застыл с вилкой в руке.

— Он здесь... Он... Он...

Удивительное дело! Точно в комнату вползла кобра или ворвался тигр.

...Rrrrrrrrrr... гам-гам!..

...Rrrrrrrrrrrr... гым!.. гым!..

Они схватились. Они жестоко схватились!

— Тузик! Мой Тузик!

Да, Тузик! Прощайтесь, стройная фрейлейн, с вашим Тузиком. Я уверен, что теперь от бедного Тузика останутся одни перья.

— Уберите собак,— строго и решительно приказал господин с мрачным видом.— Здесь не псарня!

— Послушайте, как вас... Человек!

— Возьмите их! Это невыносимо! Они перекусывают ноги!

— Возмутительное безобразие! Двадцать лет езжу по морю... и никогда...

Старичок стал пунцовым, как мак.

Он мог еще двадцать лет ездить по морю, и я уверен, что не встретит ничего подобного. Мой Марс — единственная в своем роде шельма и больше по морю не поедет.

— Ну, и собачка! — язвительно протянул деловой человек, и в его тоне я прочитал давешнее:

— За хвост да в воду.

Обед сорвался на самом интересном месте. Повыскакали из-за стола. Я высвистывал Марса и ловил нежные взгляды публики. Где тут!

Оба грызлись начистоту, стукались головами о железные ножки круглых стульев. И Марс, уверяю вас, был джентльменом. Он раза два пытался ретироваться с честью, но проклятый мопс нападал с остервенением, желая оставить за собой последний удар, и Марс, конечно, не мог принять позора. Их уже гнали, вылавливали и выпихивали швабрами вызванные двое матросов, — рыжий гигант и маленький черненький матросик.

Наконец, швабры сделали свое дело и рассортировали бойцов. Мопса утащила фрейлейн на перевязку. Марса поволок я за шиворот. По дороге наскочил на капитана, направляющегося вниз обедать.

— Вот видите... гм... опять история... того... Очень жаль... но я буду просить того... в Ганге его... того...

На нижней палубе, у трюма, матросы скалят зубы. Рыжий гигант рассказывает что-то смешное. Должно быть, описывает, как фрейлейн оттаскивала Тузика за хвостик.

Конечно, обед продолжался. Я не пошел доедать котлетку и пожертвовал сладкими пирожками и кофе.

Марс просит пить, это я вижу по высунутому розовому языку и тяжким вздохам. На палубе, хотя и под тентом, жарко. Веду на нос и даю пить. Здесь слава наша упрочена.

— Насмерть черненькую-то загрыз. Вот на тонких

ножках-то бегала... курносенькая-то... — говорит мужичок.

— В море, чай, выкинули?

— Выкинули... А только вот с полчаса тут пробегала, веселая такая.

Все давали дорогу и с подозрением поглядывали на Марса. Матросы смотрели на него, как на чуму, строго следя за легкомысленными его ухватками, а он, не вынося присутствия швабры (воспоминание о почтеннейших приемах борьбы Ивана Сидоровича), огрызался, нисколько не раскаяваясь за происшедшее.

— Мальчонке-то, сказывали, ножку прогрыз...

Слава сопровождала нас, пока мы проходили на корму. Бедный Марс! Его обвиняли во всех преступлениях.

Не радовало спокойное море и игра дельфинов. Очень приятно, когда на вас поглядывают с опаской или даже с неприязнью. Фрейлейн поминутно отзывает девчушек, а мамаша с лорнетом кличет испуганно Вилли. К этому надо добавить, что собаки, растревоженные Марсом, нет-нет и повоюют.

— От самой Либавы ехали — не выли, а ваш всех взгомозил, — жаловался старичок.

Рассказываю ему, как было дело, и по глазам вижу, что не верит. Девчушки снова бегают по палубе в компании с мальчуганом. Марс только поводит носом, выжидая удобного случая втереться. Мопс куда-то сплавлен. Многие пассажиры предаются послеобеденному сну в своих каютах. Не последовать ли и мне их примеру?

Спускаюсь к каютам и волоку за шиворот упрямого Марса. Спуск вниз не входит в его расчеты. Игруют в казаки-разбойники, и парнишка с продранной чужком уже захватил в плен одну из красных бабочек. Та принимает все за чистую монету и кричит, так как парнишка грозит выкинуть ее в море. Марс рвется, фрейлейн кричит, другая девчушка прыгает на одном месте и вопит.

— Иди же, черт тебя возьми! — поощряю я Марса. Спускаюсь на нижнюю палубу. Рыжий матрос покачивает головой. Должно быть, думает, что и эта кутерьма вызвана нами.

— Задалась собачка...

Спускаемся в отделение кают, делаем шага три, и вдруг, — пожалуйста! Согнувшись в три погибели, стороной, взбирается наверх что-то серенькое с перевязанной ножкой. Мопс, очевидно, из каюты услышал крики девочек и двинулся. Произошел обмен взглядов, но разминулись счастливо.

Открываю портьеру каюты. Наверху дремлет господин, что с угрюмым видом читал газету. Внизу похрапывает толстяк, свесив руку. Марс проскальзывает за мной и забивается под койку; но я вылавливаю его и задеваю за руку спящего господина.

— Послушайте, тут люди спят.

Волоку Марса и извиняюсь за беспокойство.

— Тут люди спят! — повторяет толстяк, делая ударение на «люди».

Господин с мрачным видом свешивает голову и смотрит предупреждающе.

— Вы же видите, что я его удаляю! — говорю я уже раздраженно.

До чего же мне все это надоело! Я оказался на положении собачьей няньки. Ни шагу свободного. Укладываю Марса у дверей в коридорчике. Объясняю знаками последствия неповиновения. Замахиваюсь с лицом разбойника, готового раздробить эту бугроватую и умнейшую таки башку, говорю и по-французски, и по-русски. Марс понимает и мирно укладывается «рыбкой», как всегда, когда покоряется. Я иду отдохнуть.

Хорошо дремать в каюте, головой к открытому иллюминатору. Нежно переливаются отражения волн в толстом круглом стекле. Убаюкивает равномерный плеск в борт парохода, и потягивает в лицо свежим морским ветерком.

Я дремлю. Море поет мне тихую сказку. Кто-то сладко всхрапывает надо мной, должно быть, толстяк. Угрюмый господин тоже спит, и так сладко, что пара мух прогуливается у него под носом. И вдруг стало тихо-тихо. Должно быть, я заснул. Мне снилось, как по палубе старичок и фрейлейн гонялись за мной со швабрами, а деловой человек грозил мне своей записной книжкой и голосом мальчишки с продраным чулком кричал пронзительно:

— За хвост да в воду!.. в воду!.. За борт!..

Я открыл глаза.

— В воду! — кричал тонкий пронзительный голосок. — Вон! вон!!

Над головой беготня. Крики.

Что такое? На меня глядит испуганное лицо угрюмого соседа. В открытый иллюминатор слышу:

— Да где? где?

— Вон, вон... Волной захлестнуло...

— Да нет! во-он!

— Потонул... Это ужасно.

— Нельзя же так... Ведь на глазах... Он плывет, плывет...

— Если попросить капитана?.. Смотрите, он еще плывет!!!

— Ах! Жалко как!

— Не останавливать же парохода... Станный же вы человек!

Сбрасываюсь с койки и бегу. Навстречу попадает рыжий матрос.

— Господин, ваша собачка за бортом...

Марс в море! Как по голове ударило. Я бегу, ничего не соображая. Вся палуба запружена народом. Тут и пассажиры третьего класса. Вытянуты головы. Стоит гул голосов. Расталкиваю всех без стеснения, хочу видеть последние минуты моего умного и верного Марса.

— Все плывет, сердешный...

— Тоже живая душа, жить-то хочется... Нет, опять захлестнуло...

Я вижу простые лица. Я слышу жалеющие голоса. Марс едва-едва виден. Но я должен же хоть что-нибудь предпринять! Я замечаю фигуру капитана. Он смотрит в кулак на море. И дама с лорнетом что-то горячо говорит ему. Кто-то взвизгивает около, начинает плакать в голос.

— Нина, Лида, нельзя. Это неприлично.

Да что же я медлю? Я знаю, что нужно сделать. Я подбегаю к капитану.

— Господин капитан! Прошу вас... Прикажите задний ход... если можно... Он доплывет... Прошу вас...

Глаза капитана выпучены.

— Я заплачу расходы, если...

— Я также прошу, капитан. Я думаю, никто не может быть недоволен. Все от вас зависит...

Что такое? Около нас толпа. Глаза смотрят на капитана.

— Просим остановить парход!

— Просим!

— Просим!!

— Жестоко не подать помощь...

Они все, все они просят за моего Марса, который теперь выбивается из сил. Матросы сгрудились красивой

синевой группой. Они возле трапа и смотрят на нас, точно ждут.

— А жалко собачку-то! — выпаливает деловой человек. — Надо бы ее...

— Я прошу вас, капитан! — говорю я решительно. — Никто не возражает...

Капитан не отвечает. Он подымается, спокойный, на мостик и что-то передает в слуховую трубу.

— Задний ход велел дать, — угадывает старичок. — Я говорил, что велит!

А Марс... Он все еще плывет, то показывается, то прячется за гребешками волн. Его рыжая голова сверкает на солнце, маленькая, едва заметная, бугроватая голова. Мальчуган с тросточкой, дергающийся и бледный, глядит, вытянув шею. И вижу я, как по носу его бежит сверкающая капелька и падает в море. Кто-то тяжело сопит над моим плечом и повторяет:

— Потопнет, потопнет...

— Кончился. Не видать. Захлестнуло...

— Да нет... Вон, опять вывернулся.

Что-то трется под ногами. Черный курносый нос что-то высматривает и вынюхивает в море. Я считаю секунды. Пароход уже прет задним ходом, и мелкой дрожью дрожат борты. И голова Марса кажется заметней.

— Спустить шлюпку-у!!

Вот он, голосок, привыкший говорить с бурями и перекрикивать штормы! Капитан стоит, как монумент. И в его руке сверкают золотые часы. Я готов броситься и расцеловать этого морского волка в белоснежном кителе и с загорелым, как темная бронза, лицом.

— Браво! Браво, капитан!

Капитану устраивают овацию. Барышни в светлых платьях машут платками. Мальчонка прыгает. Торжество и светлые улыбки на лицах.

Матросы... Что за brave народ! Они точно с цепи сорвались. А этот рыжий гигант! Он работает, как электрическая машина. Со шлюпки сорван брезент, и рыжий гигант, и еще трое — в лодке. Их ловко спускают с палубы, и визжат давно не ходившие блоки. И уже поплескивают весла на солнце.

Раз-два... Раз-два...

Синие спины откидываются дружно и выгибаются, как хорошо натянутые пружины.

— Вот молодцы! Bravo! Bravo!

Сотни глаз прикованы к двум точкам на море: к голове Марса и к шлюпке. Я жду. Я хочу закрыть глаза и не могу. Рядом со мной старичок. Его руки жестикулируют. Он точно повторяет ритмические взмахи весел. На секунду я оглядываюсь, чтобы не видеть последнего момента. Стараюсь по лицам и по восклицаниям судить о том, что делается на море. Какие лица! Я не узнаю их. Они все охвачены жизнью, одним желанием, одной мыслью. И нет в них ни вялости, ни скуки, ни равнодушия. Хорошие человеческие лица. А глаза! Они все смотрят, волнуются и ждут.

— Bravo! Bravo!

Я не могу больше ждать и гляжу на море. Шлюпка почти совсем подошла. Марс еще держится, до него не больше десятка шагов. Еще один взмах весел. И вдруг все ахнули: голову Марса накрыло большой волной. Нырнула и снова вынырнула шлюпка, и высокая фигура рыжего матроса поднялась в ней. Он всматривается в волны, что-то показывает рукой. Еще взмах.

— Пропал! Еще бы чуточку одну захватить...

— Смотрите! смотрите!

Гигант перевешивается за борт так, что шлюпка совсем накрывается. Он ищет руками в море. Он шарит в волнах. Так кажется с парохода. И вдруг... вырастает краси-

вая фигура, и в крепкой руке вытягивается из моря что-то сверкающее. С секунду он держит это что-то над морем, даже потрясает, оборачивается лицом к пароходу и показывает. И все мы видим, как падают сверкающие струи.

— Bravo! Урра!! — дружно прокатывается по палубе.

— Молодцы! — кричит над самым ухом деловой человек. — Знато!

Марс, шаловливый, надоедливый, всем досадивший Марс — спасен.

И все, решительно все, довольны, веселы. Счастливы даже. Или это мне кажется так, потому что я сам готов прыгать и целовать и капитана, и старичка, и фрейлейн, и ее мопсика, и особенно этих красных легкокрылых бабочек, которые теперь прыгают на носочках и хлопают в маленькие ладошки. Нет, все счастливы. И какие у всех хорошие, добрые человеческие лица! И даже торговый человек забыл о своем чухонском масле. Он с упоением смотрит на возвращающуюся шлюпку и одобрительно потряхивает головой. А капитан! Как белый монумент, стоит он на мостике и смотрит на палубу, и как будто посмеиваются его добрые глаза всей этой глупой истории. Не думает ли этот бывалый морской волк, на глазах которого, быть может, погиб не один человек в балтийские бури, — какие все это взрослые и хорошие дети? А сам он? Не он ли раскатистым голосом так захватывающе кричал недавно:

— Спу-стить шлюп-ку-у!

И не он ли приказал высвистать сигнал:

«Капитан благодарит».

Нет, нет. И сам он тоже «того».

Я подхожу к нему и благодарю.

— Ну, что за пустяки... гм... Очень рад, что... того... — хрипит он, прикладывает руку к козырьку, и его умные

глаза улыбаются. И кажется, будто он хочет сказать:

— Надо же когда-нибудь и пошутить... того...

У мостика собралась молодежь и устроила капитану настоящую овацию, и капитан улыбался и брал под козырек, и всем, видимо, было очень весело. Даже паренек с продранным чулком прекратил атаку на мопса. А господин с огромным морским биноклем, пледом и в клетчатых панталонах, по всем признакам англичанин, когда я проходил мимо него к борту, сказал в пространство:

— Travelling is very pleasant¹.

И добавил, показывая тростью в море, на подвигавшуюся шлюпку:

— A reward must be given him².

Весь пароход сбился к бортам. Уже приветствовали утопавшего и спасителей. Всем хотелось видеть важный момент — возвращение на сушу. Любители уже наводили глаза аппаратов, готовясь увековечить великое событие. Англичанин эффектно смотрел в свой телескоп.

Завизжали блоки, зацепили канаты на крюки и потянули шлюпку. Первым показался рыжий гигант. В его руке, как большая палена и мокрая тряпка, висел за ворот несчастный Марс. Именно — несчастный. Что-то тощее, липкое и повислое. Трудно было поверить, что это именно тот самый вертлявый непоседа, пушистый ирландец.

Матросов окружили. Гигант, видимо, конфузился своему выступлению перед толпой в роли героя. Я потряс его стальную руку и положил в нее награду на всех.

— Ну, за что-с... Собачку-то тоже...

Он, видимо, не любил разговаривать, как и его капитан.

¹ Путешествовать очень приятно (англ.).

² Ему должна быть дана награда (англ.).

— А ну-ка, любезный...

Деловой человек вытащил замасленный кошелек, порылся в мелочи и дал что-то. Дал и старичок. Англичанин протянул бумажку и сказал, поджав губы:

— Thank you¹. На водка.

Матросы только успевали совать в карман, поглядывая искоса на капитанский мостик. Торопились выбраться из толпы. И вдруг с мостика был дан знак пальцем. Матросы вытянулись и ветром взбежали на вышку. Что такое? Взяли под козырьки. Стоят. Капитан говорит отчетливо, так что всем слышно на палубе.

— Шлюпка спущена того... в минуту и сорок семь секунд! С премией в 9 секунд, чем в последнюю тревогу! Молодцы! Получите... того... по рублю...

Целый триумф! Матросы побили рекорд, как говорится. Знатоки уверяли, что две минуты для спуска шлюпки — наивысшая быстрота.

Но Марс... Он лежит без движения, окруженный толпой, и от него по уклону палубы текут струйки.

— Господа! Вы из третьего класса. Пожалуйста, пожалуйста... Теперь нужно было водворить забытый порядок, и третий помощник капитана очищал палубу.

— Плох он. Должно быть, воды нахлебался.

Я стоял над беднягой. Он дышал едва заметно, и глаза его были закрыты. Должно быть, он был в обмороке.

— Вы его потрите.

— Коньяку бы ему хорошо дать, — советовал деловой человек.

Я перенес Марса к сторонке и при помощи какой-то барышни стал растирать его. Кто-то, кажется, фрейлейн, принес нашатырный спирт. Марс чихнул, что вызвало страшный хохот. И представьте себе! Даже мопсик дер-

¹ Благодарю вас (англ.).

жал себя по-джентльменски. Он понюхал недвижную лапу Марса, обошел кругом, вдумчиво поглядывая на недавнего врага, и сел, почесывая за ухом. Марса накрыли теплым платком, — его начинала бить дрожь.

Звонок призывал к вечернему чаю. Потянулись в кают-компанию. Детишек силой оттаскивали от «умирающего». Мальчуган с тросточкой два раза прибежал снизу справиться о положении дел. Смотрю, подвигается фрейлейн и несет что-то.

— Вот, дайте ему... Это коньяк.

Рассыпался в благодарностях, разжал Марсу стиснутый рот и влил. Подействовало замечательно хорошо. Марс открыл сперва один глаз, потом другой и даже облизнулся. Узнал меня и чуть-чуть постучал мокрым хвостом.

— Что, шельмец? И как тебя угораздило?

Но глаза снова закрыты, и Марс только сильно носит боками. Только успел сходить за молоком в буфет, а возле Марса — красные бабочки, мальчуганы и барышники. Наташили печенья и разложили возле черного носа к великому соблазну дежурящего мопса. На палубе, конечно, разговор вертится около злободневного события. Передают довольно спутанную историю падения в море. Я, конечно, интересуюсь и по отрывкам могу составить такую картину.

Вскоре после появления на палубе раненого мопса на крики и возню детишек появился Марс. Очевидно, он не мог выдержать. Началась грызня. Марс повел дело решительно, чтобы одним ударом покончить с врагом. Он долго гонял по палубе струсившего мопса и, наконец, загнал на корму, где у корабельной решетки довольно широкий пролет. Здесь мопс запутался в канатной петле, и Марс совсем было накрыл его, но кто-то (осталось неизвестным, но я сильно подозреваю старичка) замах-

нулся на него палкой. Марс пригнулся, стремительно отскочил назад и сорвался через пролет в море.

Уже садилось солнце, и горизонт пылал тихим огнем. Мы сидели на корме и мирно беседовали. Смеялись над передрагой, и все в одно слово признавали, что день прошел великолепно. Даже не понимавший ни слова по-русски англичанин принимал посильное участие в беседе, что-то ворчал и кивал головой. Должно быть, говорил о «приятном путешествии».

Я проникался этим всеобщим мирным настроением и думал, что этому настроению много помогли те, короткие, только что пережитые минуты, когда все были захвачены одним стремлением и одним желанием — спасти погибавшую на глазах жизнь, в сущности, никому из них не нужного и раньше неведомого пса. Когда все вдруг почувствовали одно, всем общее, что таилось у каждого, далеко запрятанное, но такое теплое и хорошее, и на самое короткое время стали детьми... чистыми детьми. Когда были забыты и шляпа-панاما, и бархатные картузы, и смазные сапоги, и рубахи, и накрахмаленные воротнички. Когда мужичок в поддевке тянулся через плечо господина, облеченного в изящную английской фланели пару, и оба они смотрели на борющуюся за свою жалкую жизнь собаку и жалели, и хотели одного.

Мы так мирно беседовали, и Марс приходил в себя. Нет, он уже пришел в себя. Он тихо, еще на слабых ногах добрался до кормы и незаметно подошел ко мне сзади и ткнулся носом.

— Вот он!

— Ма-арс!

— Милый Марс!

— Поди сюда, умная собачка, ну, поди...

И Марс тихо подходил ко всем и доверчиво клал

всем на колени свою умную, еще не совсем просохшую голову и ласково заглядывал в глаза.

И даже англичанин в клетчатых панталонах потрепал его по спине с серьезным видом и процедил сквозь зубы:

— How are things?¹

Да что англичанин! Сам господин капитан, подошедший пожелать доброго вечера, энергичным жестом встряхнул Марса и пробасил:

— У-у, не-ос!..

И уже не вспоминал о Ганге.

Утром мы были в Або. Кое-кого из пассажиров уже не было; очевидно, высадились в Ганге. С Марсом прощались многие, и он как-то быстро выучился давать лапу, чего раньше за ним не водилось. В заключение появились четверо молодых людей, окружили Марса и давай щелкать своими «кодаками». Марс струсил и присел. В такой чудной позе его и сняли.

Я почти уверен, что о происшествии с Марсом написали в газетах. Может быть, даже появились или появляться в окнах магазинов открытки с его физиономией. Но вряд ли кто рассказал, что самое интересное произошло на пароходе. Все смотрели на Марса и не наблюдали за собой.

Ну, за них это сделал я.

¹ Как дела? (англ.)



Мэри

Маленькая повесть

Глава I

СТАРЫЙ ЖОКЕЙ

Да, вы мне более не нужны! Ступайте в контору и получите расчет...

— Но... ваше сиятельство... вы пригласили меня на пять лет... Я уже два раза отказался от выгодных предложений...

— На пять лет!.. Ну, да... зная вас за прекрасного жокея... А вы что сделали?.. Осенью провалили Изумруда... Крокусу ноги переломали!.. О, черт возьми!.. Весной вы опозорили меня, пришли последним на Цезаре...

— Я предупреждал ваше сиятельство: Цезарь болел...

— А-а-а... эти вечные отговорки — насморк, кашель, отскочила подкова, лопнула подпруга... Выдохлись вы со всей вашей славой!

Старый наездник поднял сморщенное, бритое лицо и в зеркале над камином увидел тусклые глаза, угрюмо высматривавшие из-под седых бровей, выпуклый голый череп и провалившиеся щеки. Сухая рука нервно сжимала хлыстик с перламутровой ручкой.

«Неужели все кончено и пора уходить? Куда?!»

Он растерянно обводил глазами роскошный кабинет графа, владельца знаменитой конюшни, бронзовые фигурки скакунов-победителей, развешенные по стенам хлысты, подковы и седла и остановился на плотной фигуре хозяина в кресле.

— Вы получили больше, чем стоите!.. Вы погубили мою репутацию!.. Вы... что вы сделали с Игорем?.. Вы не приготовили его к сроку, и он не попал на приз!..

— Но... молодой граф испортили ему заднюю ногу... на прогулке...

— Ложь! Освистать моих лошадей!.. И он в претензии... линючий жокей, как кричали там, на местах!.. Нет, я не могу вас держать... ступайте.

Старый жокей поклонился.

— Прощайте, ваше сиятельство... Да, ваша конюшня потеряла славу, с ней и я потерял свою... но я ни при чем...

Забрав чемодан, он поехал в гостиницу. Октябрьский дождь поливал черную громаду домов, дрожал в лужах, а в ушах отдавалось: линючий... линючий... линючий...

Кончена жизнь! Вот она, слава, эта подлая жокейская

слава! Как повернулось все в этот последний ужасный год! А раньше?

Публика носила его на руках. Владельцы богатейших конюшен заискивали перед ним, осыпали подарками, переманивали к себе его, бессменного победителя на всех скачках. Ему пожимали руку, его фотографии висели в кабинетах спортсменов. И вдруг... удар за ударом! О, эта конюшня графа Запольского! Лучшие скакуны теряли славу, лист за листом увядал победный венок наездника. А все этот молодой граф: он из-под рук брал лучших скаковых лошадей, чтобы хвастнуть на прогулках, и портил... Но что поделаешь с графом? Он балует сына, к тому же он так уверен в жокее! Первым позором Числов был обязан ему, этому крикливому мальчишке. А потом пошли неудачи: сорвалась подкова, лопнуло седло, по настоянию графа пущена больная лошадь...

«Он выдохся, этот старик... Утопил Запольского! — вспомнил жокей крики скаковой публики. — Долой Числова!»

Как ненавистно стало ему в тот памятный день его ремесло! Свист и шум неслись от трибун, где сидит публика; кто-то бросил к его ногам скамейку. Владельцы конюшен, члены, с неудовольствием смотрели на согнувшуюся худую фигурку, а председатель, этот важный седой добряк, остановил его в проходе, ударил по плечу и сказал:

— Плохо дело, старина, плохо... Публика чутка... Уходить надо...

И Числов понял, что теперь все потеряно, что ему не поручат даже самой плохой конюшни. Грозилась старость, средств нет, а в далеком городке дочь-вдова с двумя ребятишками в покосившемся домике у заставы.

Дождь порывами стучался в окно. Свечка едва освещала крохотный номер.

— Вот и прошла жизнь... — казалось, гудел самовар на кривом столике — а ты и не заметил! Пустая, бесполезная жизнь.

«Ты, дедуска, скакун... поскакай, дедуска!» — вспомнился Числов лепет внучки Надюшки.

По темным квадратам окна ползли дождевые струи.

Глава II

МЭРИ

Утро было серенькое, тусклое. Числов встал, посмотрел на потерянный чемодан и усмехнулся.

— А немного я нажил за тридцать лет! Вот и знаменитый жокей...

Он вспомнил товарищей: Крюков имеет дом, Иванов держит конюшню, Козлов уехал на родину и купил имение. А старый Числов был гол как сокол. Было у него тысяч пять сбереженных, да пропали: купил он красавицу Грезу, думал призы брать... Он до сих пор не может забыть эту статную, бойкую Грезу. Ее отравили они, его враги, славу которых затмил старый жокей.

Много денег пропало за хозяевами: один Васильковский тысячи две ему должен. Много пролечил он на зятя, жокея, разбившегося на скачках... А два года, что не работал он сам, повредив себе ногу! Нечего сказать, — славная жизнь! Сколько жокеев кончили дни свои на скаковом ипподроме! Их уносили, а праздная толпа ждала новых зрелищ. А искалеченных и пристреленных лошадей сколько!

«Довольно, — думал старый наездник, — восвояси пора... Поступлю на конный завод... Завтра же еду, вот только с земляком проститься».

Болотников проживал около скачек, и Числов направился к ипподрому.

Вот они, стрельчатые места для публики, заброшенные теперь в это скучное октябрьское утро. Мокрой лентой тянется забор, тощие липки и грязь, грязь... Пестрыми пятнами торчат на заборе клочья старых афиш... Длинными ящиками растянулись конюшни. Скаковой круг чернеет широкой лентой; каждая выбоина, каждый камень, все тайны грунта знакомы Числову.

Качающейся походкой жокея прошел он мимо трибун, мимо членской беседки. Он хорошо помнит ее: здесь получал он подарки, оvationи, деньги... А вот и он, старый знакомец, призовой столб, простой серенький столб. Дождевая вода бежит по его бокам, а на верхушке примостилась ворона.

Числов подошел к столбику, даже руками похлопал.
— Прощай, братец...

А столбик точил дождевые слезы.

Вон сквозь сетку дождя мелькает на повороте знакомый контур.

«А ведь это Болотников на Ханше проскачку делает»...

Числов пошел наперерез, через круг.

— Петр Иванович, сто-ой!..

Они поздоровались.

— Домой еду... проститься пришел.

— Тебе видней... Сжили тебя, старина... Гальтон слопал!

Гальтон! Старый Числов долго будет помнить его. Ловкий англичанин приехал создавать себе славу, и Числов побил его. О, какой это был триумф! Лучшая лошадь проиграла скачку. Числова пронесли на руках, музыканты играли туш. Сам граф Запольский лично просил старика принять у него место жокея... Гальтон был рассчитан, но... остался его приятель. Старый жокей понял толь-

ко недавно, что из этого вышло. Это он, Шиффер, подрезал подпругу, это он, Шиффер, вытащил гвоздь из подковы, это он, он отравил Грезу...

— Эх, старина, — сказал Болотников, — слава ты, а чистый младенец. Провели, брат, тебя...

— А-а... не то... Устал я... Пора кончить эту проклятую скачку, — ход у меня не тот...

— Ну, а я еще... С Гальтоном я посчитаюсь. Вот погоди, весной я буду скакать на Громе... Лэди... будет побита...

— Как? Ведь это наша лошадь... Запольского...

— А Гальтон-то чей!.. Опять у него... со вчерашнего дня...

— Так вот как... а-а...

— Да, и дал слово поправить «испорченную» конюшню...

— «Испорченную»... дал слово... О, если бы Греза была у меня!..

Числов сжимал кулаки, тусклые глаза его блеснули.

— Ну, я за тебя побью... Что?

Числов покачал головой.

— Лэди не будет побита, я знаю ее... это — машина.

— Мой Гром побьет... вот увидишь... Приезжай, брат, смотреть. Да, слыхал? Васильковский совсем прогорел, лошадей продает сегодня... Хочешь, посмотрим...

— Должок за ним есть...

— Вот и получишь... айда!

Они направились к конюшням. Под высоким навесом стояло несколько лошадей в желтых попонах. Возле них ходили жокеи, спортсмены, любители. Сам Васильковский, сухощавый старик в пенсне, шведской куртке и высоких ботфортах, с хлыстом, что-то объяснял худенькому жокею в клетчатом пиджаке. Это был Гальтон, жокей графа Запольского.

— Ага, старина... Здорово, здорово... Ну, как ты теперь?..— еще издали закричал Васильковский.

— Домой еду... кончил я...

Гальтон подал руку.

— Вы уезжайт пожинать лавры... в провинц?..— Числов угрюмо взглянул и сказал:

— Пора помирать... где нам лавры!..

— Неужели совсем, а?..— говорил Васильковский.— Жаль, жаль... Те-те... брат, надо нам с тобою рассчитать-ся, значит... Вот продаю лошадей...

Он заглянул в записную книжку и покачал головой.

— Ого!.. две тысячи сто... Ну, за мной никогда не пропадаю... Эй, выводы!..

Старые знакомцы проходили перед Числовым один за другим. Вот провели Графа — серого в яблоках. На нем Числов взял приз и побил Гальтона. Лошадь купили. Вот Стрекоза, стальная, с белым пятном на груди; у ней ослабили задние ноги. Вот еще лошадь: это Шум, вороной, с красным подпалом. Его Числов хорошо помнит: на нем скакал его зять и упал. Лошади прошли хорошей ценой. Аукцион кончался.

«И-и-и-их-хи-и»...— раскатилось резкое ржание из глубины навеса.

— Не кричи, не кричи...— ласково сказал Васильковский, оборачиваясь и грозя хлыстиком.— Не терпится...

Он прошел под навес и вывел невысокую лошадь золотистой масти, почти жеребенка. Белые, стрелками, ушки торчали из-под попоны и дергались; маленькая сухая головка игриво помахивалась, точно стараясь избавиться от парусинной крыши; тонкие ноги, белые снизу, едва ступали. Что-то нежное, детское сквозило во всей фигурке.

— Вот, господа, штучка-то... кто толк понимает!..

— Как вы находите, а?.. Только на днях получил с завода... последыш...

Он сам сбросил с нее покрывало.

«И-и-и-их-хи-хи-и»... — задрожало в ушах детское ржание. Всем стало смешно.

— Нельзя так кричать, Мэри! это, наконец, неприлично, при публике, — сказал Васильковский шутя, как говорят детям.

Он похлопал Мэри по шейке. Маленькая головка гордо поднималась над грудью, над узкой белой полоской.

По тонким сухим ногам, под кожей, пробегали легкие вздрагивания.

— Картинка! Вы взгляните на ноги, господа: сталь, английская сталь!.. А шея! — говорил Васильковский.

Он щелкнул хлыстом по ботфортам.

— Ну-с, покупайте...

Гальтон подошел к Мэри, тронул ладонью поздри, похлопал по шейке. Мэри скосила глаза: она точно следила.

Гальтон смерил грудь, покачал головой, смерил ноги. «Фррр...» — Мелкие брызги попали в лицо жокею.

— Да стой же, дурашка! — закричал Васильковский. Наконец, Гальтон кончил осмотр.

— Ну, как? Граф будет доволен... — сказал Васильковский.

— Нэт, нэт... очень слабый лошадка... очень слабый... Узкий грудь, короткий мах... нельзя на скачки... нэт... — говорил Гальтон.

Он отошел в сторону и еще раз зорко оглядел Мэри.

— Она красива, да... но нэт, нэт... слабый лошадка... нельзя на скачки...

«И-и-и-их-хи-хи-и»... — точно обрадовалась Мэри, перебирая ногами.

— Слабый лошадка!.. — передразнил Васильковский. — Тэ-эк-с... хм... Да ведь ей всего второй год!.. А огонь! Вы проглядели огонь!..

Старый жокей, не отрываясь, смотрел на Мэри. Ее

окружили, теснились, гладили, повторяли приемы Гальтона.

— А цена будет?.. — спросил кто-то.

— Две тысячи... Что цена! Вот ее паспорт... — Васильковский вынул листок — паспорт Мэри.

— Отец — Вьюн... — прочел он, — мать — Зорька... Она...

— Зорька? — громко перебил кто-то.

Это был Числов. Он сидел на земле и прощупывал ноги Мэри.

— Да, та самая Зорька, на которой вы победили Змейку... Это было так неожиданно...

— Да... но потом она ослабела, — сказал Гальтон.

— Чудная лошадь была! — сказал один из жокеев. — Не русская, говорят...

Числов молчал. Он держал голову Мэри и гладил. Мэри жевала губами, фыркала, поводила голубыми глазами. А старик слушал сердце, стучал по груди...

Вдруг Мэри, играя, сдернула с Числова шапку.

Все засмеялись. Старый жокей отошел в сторону. Его глаза смотрели в одну точку, на белые ножки Мэри. Он думал о чем-то.

— Ну, ты, старина, что скажешь? — спросил Васильковский.

— Продавайте... — глухо отозвался жокей.

В голосе слышалось не то разочарование, не то желание кого-то поддеть. Числову верили, и в тоне, каким сказал он, поняли недовольство. Болотников подошел к старику.

— Этот тощий городит, — сказал он, показывая глазами на Гальтона, — он дешево хочет купить... Посмотри, как он сторожит... не оторвется от Мэри...

Числов молчал, низко надвинул картуз и смотрел исподлобья.

— Что, старина, нахохлился? — спросил Васильковский. — Какова лошадь-то, а? Вижу, брат, по тебе она... Ну, что же, господа, покупаете?

Никто не отозвался. Все чего-то боялись.

— Никто?.. Тэ-эк-с... — он щелкнул хлыстом. — Федор Ионыч, бери ты! — сказал он Числову. — В твои-то бы руки, а? Право, бери...

— Куда мне?! — вырвался вздох у жокея. — Я все кончил.

— Опять начнешь... Бери за долг! Жаль, если попадет в плохие руки, а?..

Числов не отрывал глаз от Мэри. Насмешливое лицо Гальтона улыбалось.

«Не купишь... не купишь», — казалось, говорило оно. А веселая головка Мэри игриво поматывалась по сторонам. Болотников взял старика за плечо.

— Федя, бери!.. Не возьмешь, я куплю... Смотри, какие сильные ноги... английские ноги!.. Опять идет...

От группы отделился Гальтон. Он быстрыми, нервными шагами подошел к Мэри, нагнулся и стал прощупывать ноги. Мэри не стояла. Числов видел, как англичанин поднялся, вынул бумажник... Кровь ударила в голову Числову. Он, казалось, забыл обо всем: о прожитой жизни, о семье на руках в покосившемся домике, о скудных остатках на старость. Он видел только Гальтона и Мэри...

— Беру! беру!.. — закричал он. — Беру за долг, если позволите...

Он подбежал к Мэри, положил руку на ее шейку и ждал...

— Беру... беру... — повторял он.

— Я покупаль... позвольте... я даю больше... — спокойно сказал Гальтон, насмешливо улыбаясь.

— Ха-ха-ха!.. — покатывался Васильковский. — Он

дает больше!.. Ха-ха-ха!.. Вы изругали Мэри, господин Гальтон. Нет, не пойдет... Бери, Федор Ионыч, Мэри твоя.

— Но я же даю больше! — резко сказал англичанин.

— А я не про-да-ю, черт возьми! — рассердился спортсмен. — Мэри не годится на скачки!.. Ха-ха-ха!.. Он не узнал свою землячку!..

— Я повторяю, она не годится... Я покупал для себя... — сказал англичанин и отошел.

— А ты молодец, ты понимаешь дело, — говорил Васильковский жокею. — Ну, что так смотришь?..

«Зачем? К чему мне она?» — думал Числов.

— Подержите пока у себя... завтра я возьму ее с собою... — сказал он.

— Что? Повезешь с собой? Зачем?

— Не знаю... там будет видней...

Болотников хлопал старика по плечу.

— Так, старина, так... А ловко ты его зацепил!.. Так как же, а? Мэри придет сюда? — указал он на грязную полосу круга. — А? Или ты так дураком и останешься?

Мэри уводили в конюшню. Старый жокей, задумчиво покусывая усы, смотрел ей вслед.

А дождь все сеял осеннюю скуку.

Г л а в а III НОВЫЕ ЛИЦА

Поезд подходил к городу Н. Забелел собор на горе, сверкнула полоска Волги с цепью поросших лесом холмов. Тишиной и покоем пахнуло в душу Числова от родных мест. Здесь, на песках Волги, на обрывах гористого берега, в яблочных садах, что тянулись десятками верст, никогда не звучал скаковой колокол, волновавший сердце спортсмена сигналом «пошли!». Сюда не доносил-

ся рев публики; здесь не пестрели камзолы жокеев, не отдавался треск револьвера, пристреливавшего искалеченную лошадь, — не было всего того, чем тридцать лет наполнялась жизнь уходящего на покой жокея.

Из-за полуоткрытой двери товарного вагона, с бьющимся сердцем смотрел Числов на надвигающийся городок. Смотрела и Мэри, вытянув шею и забирая ноздрями бодрый воздух осеннего волжского дня. Резким криком приветствовала она сверкающую полосу Волги. Старик обернулся.

Мэри!.. Зачем он везет ее, это дитя скакового круга, потеху неунывающей толпы? Она не облегчит труда земледельца, это бесполезное, тонкое, на вид такое хрупкое существо. Что толкнуло его купить ее?

Вон, на горе, на краю городка, старый вяз; под ним красная крыша дома, серый ящик сарая...

«Фррр... фррр...»

Старый жокей обернулся.

Мэри положила ему на плечо сухую головку. Дергаются белые ушки, темно-голубые глаза весело смотрят вдаль, влажные губы приятно щекочат лицо.

— Вот и приехали. Ну, Мэри, пойдем!..

Медленно подымался жокей по гористому берегу, к знакомому старому вязу, ведя на поводу Мэри. Вон на углу переулка сосед-лавочник с удивлением всматривается в согнувшуюся фигуру жокея.

Дома не ждали. Жук, черный шершавый дворняга, дремал у калитки. Утки пробирались домой с соседней лужи. Надюшка собирала кисти рябины в саду. На дереве копошился Сенька.

— Лошадь ведут!.. Лошадь!.. — закричал он. — Дедушка лошадь ведет!..

Жук встрепнулся, вскочил и залаял. Утки шарахнулись в сторону. Старожил воробей, дравшийся на за-

боре с врагами из-за пучка рябины, мигом швырнулся вверх, шлепнулся камнем вниз и задергал головкой.

— Чуть-жив!.. Чуть-жив!.. Чуть-жив!..

А Жук приготовился: он ошетилил шею и гавкнул:

— Вы не очень-то... да!.. Я здесь за хозяина!..

— Жук!.. Ах, шельма! — позвал его Числов. — Не узнал, гадина...

Теперь Жук узнал. С год тому этот тощий старик приезжал сюда, плакал; плакала и сама хозяйка, Анна Федоровна, потом унесли кого-то в светлом ящике со свечами, пели певчие, а он, Жук, выл на задворках. Он узнал теперь этого тощего старика.

Жук запрыгал, поластился из приличия и сейчас же подскочил к Мэри.

— А это что за фигура? Надо представиться! — гавкнул он.

Мэри остановилась, гордо мотнула головкой и подняла белую ножку.

— Вы, пожалуйста... у меня подковка...

Бывалый в делах Жук сделал вид, что ошибся, увильнул в сторону и подкатился сзади. Но сухая головка задорно смотрела, и Жук отступил.

«Я скаковая лошадь, — прочел он в глазах, — а вам стыдно...»

Жук растерялся, завилял хвостом и буркнул:

— Ах! это я так ведь... такая тоска здесь, знаете... Я отрекомендоваться...

Но никто не заметил, что делалось на воротах. Воробей вертелся, как ужаленный. Он распушился, прыгал, задира л голову и пищал:

— Чуть-жив!.. Чуть-жив!.. Вот она, жизнь-то... начинается!.. С овсом вас, почтеннейшие воробьи, с овсом!.. Лошадь привели к нам!..

С этими словами он ринулся через двор и исчез в сарае.

Выбежала Анна Федоровна и расплакалась. Надюшка уже сидела на руках деда, а Сенька держал Мэри за повод.

— Это мне, дедуска, а? — лепетала Надюшка, тыкая пальчиком в глаз Мэри.

— Нет, это мне... — уверенно сказал Сенька.

Мэри обнюхивала воздух и фыркала. «Какие маленькие люди здесь, — думала она, посматривая на восьмилетнего Сеньку. — И какие плохие конюшни, и нет лошадей... Странно...»

— Мне ведь, дедуска, а? — приставал Сенька. — Мне?

— Вам... вам... — усмехнулся старик.

«Вот все, что заработал за тридцать лет, — думал он. — Ах ты, старый дурак!»

Он взглянул на плохо одетых внучат, на бледное лицо дочери, на свои старые сапоги и потертую куртку, на прогнивший забор и облезлые стены домика под старым вязом.

«Да, сделал дело!.. Вот она, тихая, покойная старость»... — стояло в голове.

«Здравствуй, хозяин! — казалось, кричал покосившийся домик. — Пора поправлять... крыша течет»...

Числов вздохнул. Печальные глаза дочери с беспокойством осматривали его. В них он заметил испуг, скрытое горе.

— Фррр, фррр... Ну, что же, скоро ли меня поставят в конюшню? — спрашивала Мэри, постукивая копытцем.

— А-а... Мэри. — Он словно забыл о ней. — Да, да... надо поставить ее... в сарай... Ах ты, старый дурак!

Заскрипели ржавые петли. Мэри насторожилась...

— Ну, что ты, дурашка, боишься... — говорил Числов, вводя Мэри в сарай. — Это твоя квартира... Что так смотришь?.. Правда, неважно здесь: пол гнилой, нет оловян-

ной кормушки... щели сквозят... Не плачь, моя птичка... После подумаем...

Он не снял с Мэри попоны, похлопал по шейке и вышел.

Мэри затихла: темнота пугала ее. Она опустила голову в пустую кормушку, обнюхала пол... «Что ее ждет? За чем привели ее? Что будет делать с ней этот грустный, такой несчастный старик?»

— Это безобразие! — запищал воробей в уголке. — Скандал какой!.. Где же овес? Лошадь завели, а овса не дают...

Он нахохлился и пулей нырнул в разбитое окошко. Все вошли в дом. Жук постоял, взглянул на закрывшуюся дверь, подумал и лениво поплелся к сараю.

— Дела прибавилось. Что ж, буду сторожить, — примащиваясь возле двери.

Г л а в а IV В САРАЕ

В маленьком домике до глубокой ночи светился огонь. Старик с дочерью тихо вели беседу.

— Пойду на конский завод, — точно оправдываясь, говорил Числов. — Ведь еще годен я на что-нибудь, а?.. Найду работу...

— Вам нужен покой, папаша... Вы так изменились... Теперь моя очередь, я буду работать... Как-нибудь проживем...

— Покой... покой!.. Я не сумел приготовить себе покоя, как другие... Тридцать лет прослужить на чужую потеху... И меня швырнули, швырнули, как хлам!.. За что? За что? За то, что я брал для них призы, создавал славу их лошадям?.. О, если бы вернуть все назад.

Он встал и в волнении прошелся по комнате.

— Они еще вспомнят обо мне!.. Вот увидишь!..

Анна Федоровна почти с испугом взглянула на отца.

— Что так смотришь? Ты думаешь, что старый Числов спокойно снесет пощечину?.. А пока не тревожься, Нюта... Кое-что продадим... Одна Мэри стоит две тысячи... Не нищие мы еще...

— Конечно, папаша... Поправим дом, лошадь продать можно... Завод купит...

— Продать... Мэри?.. Ну, да... ты не тревожься... Я найду дело... найду...

Он вспомнил про Мэри... «В холодном сарае... заболеть может».

— Пойду взгляну Мэри...

Он вышел во двор. Шел дождь. Ветер гулял по пустырю вокруг дома, свистел в щелях сарая. Старый вяз сыпал пожелтелые листья.

Жук проснулся.

— Я сторожу,— гавкнул он, узнав старика.

Мэри заржала.

— Что, Мэри, скучно? Что ты дрожишь так?.. Завтра починим твою квартиру, вставим окошко.

Он дал ей овса. Жук незаметно пробрался в уголок сарая и завалился на сено.

Старик запер конюшню.

Хру-хру-хру...— похрустывала Мэри овес. «Как скучно! Я никогда не увижу солнца».

Что-то зашевелилось. Она перестала хрустеть и наставила ушки.

— И я с вами,— виновато проворчал Жук.— Такая тоска, знаете, одному под этим дождем... Я не мешаю вам?..

— Нисколько. Мне даже веселей с вами... Послушайте, вы не знаете, зачем меня привезли сюда?

— Мм... как сказать?.. Вы, должно быть, будете возить воду. К нам, видите ли, возит воду старая кривая

кляча... Ее зовут Вакса... Плоха-ая такая... Ну, вот вас и привезли... Впрочем, я полагаю...

— Вozить воду?.. Но ведь я не умею, я скаковая лошадь... Я рождена для ипподрома...

«Какая образованная она», — подумал Жук и, не желая показаться невеждой, сказал:

— Ип-по-дром... гм... гм... да, я знаю... Это такое, как вам сказать... тоже очень хорошее дело... Но у нас не слышно о нем. У нас возят воду, кирпичи, сено... и потом... вы очень красивы!.. Вы, должно быть, не будете ничего возить...

— Я умею скакать, — сказала Мэри. — А вы умеете?

— Случалось, когда мальчишки камнем швырнут...

«Нет, какая она образованная!.. Ип-по... Вот и забыл... надо спросить воробья», — раздумывал Жук.

— Вот неподалеку отсюда есть дом, — продолжал он, — там живут беленькие собачки... болонки... — нарочно медленно выговорил это слово, — они тоже ничего не делают и спят на ковре. Так вот и вы... Будете только кушать овес... Это бывает. Вот у нас есть один дармоед-воробей... Ничего-то не делает...

— Вы не очень-то! — раздалось из уголка... — Я очень даже много делаю... Я наблюдаю и могу давать советы... да-с... А это тоже чего-нибудь стоит... Вот вы, например, не знаете, для чего привели их, а я знаю.

Мэри подняла голову и ждала, что скажет воробей. Жук нехотя приподнял ухо.

— Да, я знаю. Недалеко есть красивые конюшни... Я бывал там частенько... за овсом я туда летаю. Ну-с, так там есть такой круг... Там много таких, как они вот... Они скачут по кругу, их хорошо кормят за это... Вот овес-то! Потом их уводят... и знаете зачем?..

— Зачем? — спросили Мэри и Жук.

— Вот то-то!.. А вы меня дармоедом... А уводят их

за деньгами... да... Я слышал, как там говорили: «Ну, больше денег привозите нам, берите призы». Вот вы тоже должны заработать денег нашему старичку. А то посмотрите, какая здесь бедность: я угла себе не могу найти, дом старый. Жуку живет неважно, конюшня вся в дырях... Вот вы и должны все нам устроить... Вас и повезут куда-то за деньгами.

— Что же... Я очень рада,— сказала Мэри.— Этот старичок такой скучный, мне его жаль. Поверьте, я вовсе не хочу есть даром овес... И для вас, господа, я рада что-нибудь сделать: вы такие добрые.

— Мы труженики,— сказал Жук.

Воробей ничего не сказал и опустил в кормушку. Фррр... фррр...

Струя воздуха из ноздрей Мэри сбила его с овса, он встрепенулся, ударился в стенку и, как ошпаренный, вылетел из кормушки.

— Чуть-жив! Чуть-жив! — закричал он.— Черт бы вас побрал! и овса-то жалко!.. Какой от вас толк? А тоже: «я рада»...

— А ты не лезь в рот,— сказал Жук.

— Я хотела поиграть с вами... Мне так скучно... — оправдывалась Мэри.— Пожалуйста, кушайте овес.

А воробей уже рылся в кормушке и с радостью думал, как он сумел понравиться и что ему не придется летать за овсом на завод.

А Жук подремывал. Ему виделась новая конура, деревянная миска со щами и жирной костью. Это все должна дать ему Мэри.

Глава V ПЕРВАЯ ПРОБА

Дня три старый наездник возился в сарае. Мохом он заделал щели, починил пол, вставил окошко. В конюшне

стало теплей, и воробей окончательно перенес сюда свою резиденцию.

Это был одинокий воробей-старожил. При конце жизни он получил прочную квартиру и в душе питал благодарность к Мэри. По всему околотку он разнес весть о ней. С крыши домика он непрерывно кричал:

— Она чего-нибудь да стоит!.. Смотрите, как она меня устроила-то!.. Ну, и ты, Жук, все-таки угол имеешь. А ты подожди: она поедет т у д а, привезет денег, и будет тебе конура и все... Ур-ра!.. ур-ра!!.

К воробью прислушивались. На двор к старому наезднику стали залетать голуби подбирать овес и послушать рассказней воробья. Вороны с тоской присаживались на заборе и глотали слюни, когда воробей кричал о щях и костях для Жука:

— Скоро всем будет, скоро!..

А когда раз вечером старый жокей вывел Мэри во двор и показывал знакомому с конского завода, воробей услышал:

— Да, это капитал! — сказал знакомый с завода. — Хозяин, конечно, позволит пользоваться вам нашим кругом и готовить Мэри...

И воробей теперь добавлял:

— Это целый капитал, господа! это не то, что кривая Вакса, да-с!..

Мэри начинала понимать, зачем привезли ее. Восторженные крики воробья, внимание Жука, поддакивание и крики удивления ворон, заботливость, с которой ходил за ней грустный старичок, ласки детишек, особенно Сеньки, днями сидевшего в конюшне, — все это убеждало ее, что она готовится к чему-то важному, что она должна что-то сделать для всех.

Она ждала. Тут случилось событие, окончательно уверившее ее в этом.

Прошла неделя. Утром, только поднялось солнышко, старый наездник, по обыкновению, вошел в конюшню, вычистил Мэри скребницей, помазал копытца, тщательно оглядел подковки и сказал, ласково трепля по мордочке:

— Теперь за работу, Мэри...

— И-их-хи-хи-хи-и... — радостно заржала она. — Вот оно... начинается... Это так интересно.

Жокей оседлал ее, подтянул потуже подпругу, взнуздал и, как перышко, стал в стремяна.

— Жук, посмотри!.. старичок-то твой повеселел совсем! — закричал воробей. — Братцы, скоро всем будет, скоро!!.

Жук хотел было что-то сказать, но воробья уже не было.

А Мэри скакала легким аллюром к заводу. Там, по широкому кругу, носилось несколько лошадей. Мэри заржала: ей стало так хорошо и легко.

У входа на круг ее окружили жокеи, и маленький человек с большим животом и хлыстом в руке приветливо поздоровался с Числовым.

— Наконец-то мы поглядим вашу Мэри... Здравствуй-те, Федор Ионыч, слыхал я о вас... Ну-с, покажите ее, посмотрим... Тэ-эк-с... — говорил он, оглядывая Мэри со всех сторон, — лошадка знатная... Коротковата малость... Что же, продавать будете, а?..

— Не знаю... так случайно вышло... Купил и сам не знаю зачем... подожду...

Мэри с укором взглянула на хозяина.

— Так продавайте...

Мэри слышала, как старик долго говорил с толстяком о своих неудачах, о Гальтоне... Толстяк горячился, называл всех мошенниками, ударял старика по плечу.

— Ах, я знаю их всех... Мои лошади лучше этих мошен-

ников. Ну, не унывайте, старина! Для вас у меня всегда найдется дело.

— Благодарю вас, да вот она,— указал Числов на Мэри,— из головы у меня не выходит... А продать... нет, не могу я решиться...

— Чудак вы... чудак!.. Ну, ваше дело... Ну-ка, пустите ее... поглядим вашу Мэри... Эй! остановить лошадей!

Мэри пошла. Все наблюдали за ней. Лошади отъехали в сторону, чтобы пропустить ее. И они смотрят, провожают ее глазами. Солнышко глядит с ясного неба, ветерок так приятно щекочет ноздри. Хозяин треплет ее по шейке и цокает по привычке. Мэри понимает этот ободряющий звук.

— Ну, Мэри, цо-цо-цо... — шепчет старый жокей и подбирает поводья. — Цо-цо-цо... Мэри... так... так...

Уже на той стороне круга группа людей. Ниже стелется Мэри, быстрее скользит под копытами черная лента, дальше в сторону летят комья мягкого грунта.

— Ну же... цо-цо-цо...

В струнку вытягивается Мэри. Сильней колотится сердце.

Вот и поворот круга, черная группа людей и толстяк с хронометром в руках.

— Стой, Мэри!.. тпрру-у!..

— Поздравляю... поздравляю... Огонек ваша Мэри... Каково?!. Без хлыста, на тугих поводьях!.. Гм... Она будет делать дела... — возбужденно говорил толстяк, прощупывая плечи Мэри. — Немного короток мах только... Смотрите, и не вспотела нисколько... Грудь узковата... Но какая горячка!..

— Это не полный ход,— сказал Числов, записывая скорость Мэри,— она еще покажет себя...

Мэри игриво поглядывала на всех. «Я могу бегать быстрее... я так рада!» — казалось, говорили ее глаза. Она

чувствовала, что все любят ее, она видела, как просветлело всегда печальное лицо хозяина, и ей стало так весело, как никогда за последние дни.

— Круг в вашем распоряжении, Федор Ионыч,— говорил добрый толстяк,— лучшего жокея для Мэри и быть не может. Вы подарите публике жемчужину...

«Ну, Мэри... я не продам тебя, нет»...— думал старый жокей, надевая на Мэри попону.

Задумчиво возвращался Числов домой. Он не замечал, как Мэри косилась, фыркала, старалась поймать его ногу.

Он опустил поводья, согнулся точно под бременем охвативших его дум. Перед ним проходили трибуны, публика, лошади, жокеи и призовой столб.

«Долой Числова!» — отдавалось в его ушах.

Насмешливо улыбалось лицо Гальтона.

«В провинц... пожинайт лавры»...

Жук сидел у ворот, ожидая возвращения Мэри,— он не смел покидать дом.

— Как долго... какая тоска! И этот дармоед провалился куда-то...— размышлял он, поглядывая на дорогу.

Прррр...— затрепетал воздух, и маленький комочек почти упал на ворота.

— Уф!.. уф!.. насилу-то... добрался... Ну, дела!.. А? Мэри обогнала меня! Меня, самого ловкого воробья!..

— О! — сказал Жук.

— Да, да... Как пошла она скакать... я рядом, все рядом... во весь дух шел... Я поддаю ходу,— она за мной... уф!.. уф!.. Я уж поперек круга махнул... каюсь... И то опоздал... Какой позор, если бы, Жук, знал! Они там все надо мной смеялись, я это очень хорошо заметил... Уф!.. уф!.. Они, конечно, не понимают, что у меня только две ноги... А она-то и рада... После всего этого я не знаю, оставаться ли мне на этой квартире: это не по-товарищески...

Глава VI

ЖЕЛЧНЫЙ ФИЛОСОФ

Ранним утром старый жокей выходил на крылечко покурить папиросу перед тем, как ехать на круг. Старый подгнивший забор мозолил глаза сорвавшейся с петель калиткой, сбоку сарай-конюшня кричал о своем убожестве; сзади серенький домик напоминал о надвигавшейся бедности. Невеселые мысли бродили в голове старика.

— И-и-их-хи-хи-и... — кричала Мэри в сарае.

«Ах, Мэри... — вздрагивал старый жокей — О, они еще увидят меня!..»

Он жил теперь одною мыслью. Судьба толкнула его купить лошадь. Он приготовит ее, разовьет ее скорость... и снова увидят его желтый камзол с алой лентой, красивый картуз. Он поедет за заветным призом, из-за которого бьются все владельцы конюшен, жокеи, спортсмены, он победит, возьмет деньги, вернет свою славу и, когда его снова станут приглашать эти гордые люди, он скажет им все и уедет сюда на покой. Мэри вернет ему все.

«Когда же меня поведут? — думала Мэри в конюшне, вспоминая слова воробья. — Хозяин грустит, всем здесь так скучно, но...»

В ней начал развиваться инстинкт скаковой лошади. Носясь по кругу, она искала глазами соперников, но их еще не было. И это ее смущало: она нетерпеливо трясла головой, горячилась, старалась вырвать поводья.

— Не горячись, Мэри, успеешь, — говорил ей старый жокей, — время придет. Они, Мэри, не знают, какое ты золото, они ничего не знают.

Часто, стоя в сарае перед полной кормушкой, Мэри

задумывалась о том, что ее ожидает. Дрожь пробежала по ее тонким ногам, нервно дергались уши.

— Чик-чик... чик-чик... — пытался заговорить воробей.

Мэри, охваченная тревожными думами, молчала.

— И чего важничает, — желчно говорил воробей Жуку, — самая обыкновенная лошадь, а гордости у нас, как навоза... хуже Ваксы... Та хоть и кривая, а иногда поговаривает со мной. Вот хоть вчера. «Ну, как, воробей, поживаете?» — «Ничего себе». — «А дела как?» — «Ничего себе», — говорю. «А вы как?» — «Сегодня десять бочек свозила». Вот это вежливость!.. Я таких лошадей уважаю... От них — прок!.. А эти, куцые... без хвоста... жрут да дрыхнут, да вот, чтобы лапу кому придавить, как вам вчера... И говорить не желает!.. А того не понимает, что я, может быть, глаза ей открыл, когда о деньгах сказал... Невежа!..

— За что вы сердитесь на меня? — спросила Мэри.

— Я с вами не разговариваю... Говорят с порядочными лошадьми... а вы только овес даром едите да важничаете... да вот лапу придавить...

— Но я же нечаянно... Разве вы сердитесь, Жук? — спросила Мэри, нагнулась к Жуку и лизнула его в морду.

— Нет, что вы... вы очень любезны, — просиял Жук. — Я повизжал, чтобы позлить воробья: он не любит визга. А когда же у меня новая конура будет?

— Не знаю... Мне что-то страшно, когда я подумаю, что скоро меня поведут куда-то...

— Ничего не будет! ничего! — злобно зашипел воробей из кормушки. — Вот увидите! Куда вам! Вы только разоряете старичка... Вакса — вот это лошадь! А вы — скакуны — деньгам перевод... Да и хозяин-то дурак. Все вон дело делают, а вы с ним скачете, как угорелые...

Тут пора дом поправлять, а вы... Вон намедни лавочник что сказал...

— Что? — спросила Мэри.

— А то! «Ох уж эти наездники! Скоро, говорит, по миру пойдет, а куцую привез»... Это про вас. «И зять-то, говорит, непутевый был, делом не занимался, чтобы семью на ноги поставить, да и старик-то сумасшедший. Скоро и пса-то (это про вас, Жук) нечем будет накормить»...

— Но ведь я... я готова все делать... я буду возить воду.

— Да,— продолжал воробей.— «Подло, говорит, на таких лошадей деньги швырять, это, говорит, миллионщикам впору: они, говорит, труда человеческого не понимают»...

Мэри вздохнула и перестала есть. Жук уткнул морду в лапы. А воробей, довольный, что всех растровожил, важно ходил в кормушке, выбирая самые мягкие зерна.

— Вот оно что-с... Я так полагаю, что и вы можете с голоду околеть... Хозяйка-то одну картошку ест. Сенька в рваных сапогах бегают...

— А деньги? Я же поеду за ними...— сказала Мэри.

— Не верится мне что-то... Чик-чик...

Глава VII

ВАКСА

Как-то в ноябре, морозным утром, старик вывел Мэри, чтобы ехать на круг. Снег резал глаза. Из нагретейшей за ночь конюшни тянулись в морозном воздухе клубы пара.

— Вакса! Вакса! — закричал воробей с крыши.— С добрым утром!

Во двор въезжала водовозная бочка. Мэри вытянула мордочку, понюхала воздух и так резко заржала, что

старая Вакса с испуга шарахнулась в бок и затрясла головой.

Мэри увидела приземистую, с большим брюхом, взъерошенную лошаденку с потертой местами кожей; натертое до крови плечо поводило легкой дрожью; повислые уши топорщились в стороны; желтые стертые зубы смотрели из-за отвислых губ; старые тяжелые веки совсем закрывали глаза.

— Вакса! — закричал воробей: — Вот наша Мэри!

Вакса нехотя подняла голову и скосила глаз, но он ничего не видал. Она опустила морду, и Мэри показало, что из кривого, воспаленного глаза сочились слезы.

— Не вижу... темно... — тихо сказала Вакса.

Мэри зашла с другой стороны и увидела добрый печальный глаз.

— А! — удивленно зашамкала старая кляча. — Я вижу теперь... Ах, как вы красивы!.. Я еще никогда не видала таких... Вы тоже лошадь?..

— Да, я скаковая... Видите, у меня хвост подрезан...

— А-а... как хороши вы!.. какие у вас тонкие ноги!.. А я воду вожу... очень давно вожу... каждый день... — растерянно говорила Вакса, опуская от слабости голову... — У меня было два глаза, как и у вас... я видела все вокруг... но мой хозяин кнутом выбил мне глаз, когда я опрокинула бочку. Давно это было...

Мэри подошла к Ваксе и стала лизать ей шершавую спину.

— Ах, что это вы?.. Вы так хороши! — конфузливо зашептала Вакса.

Сладкое чувство подступило к сердцу, не знавшему ласки. Глаза замигали часто-часто. Она хотела лизнуть Мэри в золотистую шерстку, потянулась и не достала.

— А тяжело возить воду?

— Тяжело... но я привыкла... Вот если бы мне давали овса...

— Как? Вам не дают овса? — удивилась Мэри. — Я всегда ем овес...

— Да? всегда... Но вы... так красивы... А мне... Впрочем, я как-то ела овес... давно-давно...

— Хотите?.. В моей кормушке...

— Н-но! шевелись, холера! — закричал водовоз, вскакивая на бочку.

— Прощайте, — грустно сказала Вакса, нагнула голову и поплелась дальше.

— Какова? — запищал воробей. — Вот это я понимаю: она стоит овса!..

Встреча с Ваксой оставила в душе Мэри след грусти.

В тот же день вечером старый жокей сказал дочери:

— Сегодня Мэри показала такую скорость, что я окончательно решил, что мне делать. Это — чудная лошадь. Весной я еду на скачки... Мэри спасет нас, Мэри вернет нам покойную жизнь.

— Опять старое... Это вечное беспокойство! Что вам принесли эти скачки, папаша?!

— Ничего... Это будет последний выход старого Числова.

Глава VIII

ВЕСТНИК

День ото дня сильнее волновался старый жокей. Часто среди ночи подымался он с теплой постели, надевал полушубок, брал фонарь и шел смотреть Мэри. В ночной темноте слушал он, не крадется ли кто к сараю, не беспокоит ли лошадь. Он чего-то боялся. «Что делать, если она заболит?» — вставал беспокойный вопрос. Старик похудел и постарел за последнее время.

Дни бежали. Серенький домик стоял по-прежнему скучный. Ветер свободно гулял в черных сучьях старого вяза, скрипела калитка, стучали дряхлые ставни в бурные ночи. Скучно было снаружи, но невесело было и внутри: семья начинала нуждаться. До глубокой ночи стучала машинка; до вторых петухов гнулась за работой хозяйка, давно отнесли в ссудную кассу жетоны и победные кубки. Ведь для Мэри нужен овес! Скоро придется отнести и призовые часы, и тогда...

«Скорей бы приходила весна», — думал угрюмый жockey.

Плохо приходилось Жуку последнее время. Когда хозяйка выливала помой, он жадно кидался и уныло уходил прочь.

— Опять картофель! Хоть бы какую обгорелую кость!..

Теперь он был рад пустой корке хлеба.

— Вы нас съедаете, — ворчал он на Мэри. — Каждый день овес и овес! Это, наконец, стоит денег... А какой толк? Вот Вакса — дело другое: она добывает денег хозяину, и Бушуй всегда сыт. А вы... Я и сторожить вас не стану: пусть лучше вас украдут, — по крайности овса не придется покупать...

— Но я... я... — оправдывалась Мэри, — я сама не знаю... Мне очень вас жаль. Хотите, ешьте овес... Вот же воробей ест...

— А ну вас с овсом! Оба вы дармоеды. Вот уйду на бойню, буду кишки воровать...

Конечно, Жук все это говорил сгоряча. Он знал отлично, что никуда не уйдет: он любил хозяйку, Надюшку, Сеньку, бедного старичка и Мэри. Воробей последние дни провалился куда-то. Жуку и по воробью было скучно.

— Где он, старый дармоед? — ворчал Жук. — Хоть покричал бы, что ли, — все не так скучно.

Мэри также грустила: голос Жука, его жалкий вид смущали ее. Разве она виновата, что ее не везут куда-то туда, о чем говорил воробей? Хотя бы он ободрил ее: он так много знает. А она... она сделает все, что в силах!

Снег, наконец, начал таять, зима уходила. Прилетели грачи, загремели в сучьях старого вяза. Задумчивы, тихо розовели весенние вечера. Румянились зори.

В один из таких вечеров появился во двор воробей.

— Чуть-жив!.. чуть-жив!..

— А я уж думал — ты издох, — сказал Жук, виляя хвостом. — Куда тебя носило?

— Соскучились!.. то-то! а то — дармоед... — Воробей все еще помнил обиду. — Однако же и подвело, брат, тебя!

— Не твоя забота.

— Ну, не лайся. Я вам принес важную новость. Вы, — обратился он к Мэри, — скоро отправитесь за деньгами...

— Быть не может! — даже подпрыгнул Жук. — Мэри, вы слышали?..

Мэри раздула ноздри, наставила уши и замерла.

— Наконец-то!

— Да. Я все это время прогостил на заводе. Хороший стол, полное уважение нам там, — отчего, думаю, не пожить? — важно говорил воробей, развалясь на заборе. — А тут только хозяина объедать... Это не в моем характере. Ну-с, и вчера, господа, ...вы слышите, Мэри? — вчера толстяк отправил с завода лошадей и сказал: «Ну, с богом! идите добывать деньги!» Стало быть, и вас повезут скоро.

Мэри дрожала: чувство восторга и непонятного страха охватило ее.

— Я так рада! Я буду добывать деньги, я буду трудиться, как эта несчастная Вакса...

— Да, — перебил воробей. — Я и забыл: Ваксы нет больше, господа...

— Как? — спросили Мэри и Жук вместе.

— Да. Это очень печально, но это так. Сегодня она упала на горе с бочкой и околела. Я видел, как живодер увозил ее на санях... Чик... чик... чик...

Все замолчали. Жук стал слегка подвывать.

— Цыц! — крикнул старый жокей. — Экий пес... Цыц, говорю!

Мэри опустила голову.

— Бедная Вакса!

— Она, — вдруг сказал воробей, — сделала свое дело... не как другие прочие... Пойти провести квартиру...

И воробей уже рылся в кормушке.

Мэри задумчиво стояла среди двора. Старик подошел к ней.

— Что, Мэри, что, моя крошка? Скоро тронемся в путь.

Он взял ее за голову и просительно заглянул в голубые глаза.

— Не выдай, родная!..

Г л а в а IX

«ПРОЩАЙТЕ!»

Приближался решительный день: пора ехать туда. Подолгу оставался Числов в конюшне. Насыпав овса, он прислонялся к стройному корпусу Мэри, клал голову ей на шею и думал. Мэри переставала хрустеть, дрожала, тревожно косилась на дорогое ей, такое худое, желтое, небритое лицо. Она слышала тяжелые вздохи, она чувствовала, как дрожат руки, приглаживавшие гривку. Она отзывалась: ее все еще детское ржание резало ухо, звенели стекла окошка, вздрагивал задремавший Жук. А когда старый жокей крестил ее, уходя, Мэри провожала его, поворачивая голубые глаза, а Жук ворчал:

— Смотрите, какой скучный наш старичок...

На что воробей отвечал с ехидством:

— Есть некоторые, которые этого не замечают.

— Это жестоко, — почти кричала Мэри, — я все бы сделала...

— Вы-то чего придираетесь! — шипел воробей. — Только и разговору, что ли, что о вас!..

Совместная жизнь в конюшне становилась невыносимой. Жук ныл во сне, ворчал наяву. Мэри часами выслушивала колкости и вздыхала.

Воробей был точно пропитан ядом. Он злился последние дни на всех, обсиделся, расстроился, перья из него вылезли, голова облысела. А какой веселый малый был он всегда! Он любил смех, солнышко и бодро смотрел вперед. А теперь! Все вокруг было мрачно: вздыхал старый хозяин, хозяйка, озабоченная, все уходила куда-то, Надюшка болела и не выходила гулять. Сенька уныло слонялся возле конюшни. Жук часами лежал, уткнув в лапы тоскливую морду, Мэри... Она уже не пугает его в кормушке. И воробей изнывал и шипел.

Раз как-то, когда Жук плакал во сне, воробей заметался и крикнул:

— Не могу!.. не могу!.. это... это... я не знаю что!.. Все дуются, плачут... Не могу я так... Какая это жизнь...

Наутро он куда-то исчез.

Пасха прошла. Ранним утром старый жокей вывел Мэри в попоне, взял саквояж, где лежал забытый камзол, перламутровый хлыстик.

— Ну, Мэри... пойдем...

Он отошел в сторону и осмотрел лошадь.

— Как хороша... Тебя увидят все, моя быстрая птичка, тебя увидят...

Мэри смотрела в пустую конюшню. Там было так скучно порой, особенно последние дни, когда улетел воро-

бей. Там часто вздыхал этот скучный старик и звал ее: «Мэри! Мэри!» — точно просил о чем-то. Там добряк Жук часто лизал ее ножки. Там, наконец, этот юркий воробушек открыл ей то, что она должна сделать... Где он теперь?

Мэри осмотрелась, прислушалась... Пусто. Воробья не было. Ей стало страшно. Он бы ободрил ее, сказал что-нибудь на прощание: он такой умный. Как дрожат руки хозяина! Вот он вынул красный платок, смахнул что-то с глаз, прощаясь с дочерью. Вон Надюшка стучит кулачком по стеклу и делает ручкой... Сенька сидит на крыльце и ревет. Знакомый белый кусочек, сахар, зажат в его пальцах.

— Фррр... фррр... Прощайте, я ухожу... далеко... — хотела сказать ему Мэри.

Сенька вскочил, обхватил ее шейку, прильнул... Горячее что-то упало на вздрагивающие ноздри. Розовый шершавый язык захватил маленькую ладошку.

Ай! что это?.. Ах, это Жук! Он лижет ее белую ножку и печально виляет хвостом. Глаза его мутные. Уши повисли.

— Прощайте, Мэри... — говорит он глазами. — Я останусь один, как раньше... Прощайте... Я скоро умру... никогда не будет... воробей улетел... вас уведят... Я... я... плачу. Мэри... о вас...

Он тряс головой и переступал с лапы на лапу.

У Мэри что-то схватило в горле. Она опустила голову и лизнула Жука в печальную морду.

— Я приеду... я скоро вернусь... и тогда... тогда мы опять заживем... весело... прилетит воробей...

— Вот он я! — крикнуло что-то в воздухе. — Что такое?.. вас уведят?.. Хорошо, что поспел. Ну, что же... ну... уф-уф... все хорошо... то есть я хочу сказать... все будет хорошо. Не плачьте, Жучок... и вы, Мэри, не надо... я...

я... мне так тяжело... Еще утром так вдруг тяжело стало... я и полетел к вам... — быстро лепетал воробей, отворачиваясь и вытирая крылышком носик. — Ах, как вы стали красивы!.. Вы лучше всех лошадей... я знаю... я проживал на заводе... Только, только...

— Что? — спросила Мэри, растроганная.

Жук уже был не в силах стоять. Он присел на задние лапы и качал головой.

— Только... приезжайте опять!.. да... и поминайте... прошлое... Я так любил вас... очень...

Пррр... Он взвился, шарахнулся в конюшню, метнулся по ней, вынырнул, присел на ворота и пропал.

— Идем, Мэри, пора, — сказал старый жокей.

Маленькая фигурка загородила дорогу. Это был Сенька.

— Зачем ты уводишь ее, зачем?... Ты хочешь продать ее?... — Сенька был бледен.

— Да нет же... Мэри вернется... Она заработает много денег, глупыш!

— Не надо денег, не надо!.. Дедушка, оставь Мэри, оставь! нам так скучно...

— Довольно, дурашка... Пусти...

Сенька уткнулся в ворота и заплакал. Анна Федоровна крестила отца. За окном кричала Надюшка.

— Мэри! Мэри! прощай!

Она услышала знакомый голос и повернула голову. Сенька бежал за ней.

— Идем, идем, Мэри... — торопился старый наездник.

Жук плелся сзади. Он проводил до угла, следил, как Мэри скрылась за поворотом, и поплелся домой. Вечером он был на задворках, а ночью, забравшись в пустую конюшню, плакал во сне.

Глава X

В БОРЬБЕ ЗА ПРИЗ

Мэри появилась на скачках...

Записанная от имени Васильковского, так как Числов не состоял членом круга, она не вызывала восторгов спортсменов. Ею любовались, но спортсмены уклончиво говорили о ней. Высокая, темно-рыжая Лэди легко обошла ее на первых трех скачках; на двух других Гром Болотникова и Пуля Запольского победили ее. Только в последнюю скачку она пришла второй, почти рядом с Лэди.

— Это случайно, — говорили спортсмены. — У Лэди ослабла подруга.

Старый жокей готовил удар в тишине. Васильковский раздобыл-таки денег и опять держал лошадей. Его наездник Петров, по просьбе Числова, ездил на Мэри.

— Что же ты, старина? Ведь Мэри могла бы делать дела, она привыкла к тебе... — говорил Васильковский.

— А главная скачка? — сказал загадочно Числов. — Только тогда они увидят меня.

«Все идет, как я ожидал, — раздумывал Числов. — Она не в моих руках, Петров не знает ее. А скорость!.. Ха-ха-ха... — Он вынимал свою книжку. — Разве она так скакала сегодня, когда на ней сидел я!.. Подождите, Гальтон... торжествовать еще рано... Скоро Числов наденет свой желтый камзол!..»

Мэри записали на главную скачку. Теперь старый жокей был спокоен. В публике носились смутные слухи, говорили, что Числов поедет за главным призом... Числов?.. Но ведь он, говорят, помирает на родине и послал только Мэри...

Гальтон был спокоен. Гордый несомненной победой, он иногда особенно пристально вглядывался в сухие белые ножки Мэри, покусывал губы и опять улыбался. Граф Запольский раза два останавливал на Мэри бинокль.

— А красива... только грудь узковата... Слаба она на хорошую скачку... — говорил он соседу.

— Слаба-то слаба, да... но этот Петров не дает ей полного ходу... Этот дуралей чего-то жалеет ее...

— Мэри может зарваться... Она — горячий лошадка... и у ней слабый грудь... — говорил Гальтон графу. — Ее легко зарезать на скачке!... Лэди — железо... она победит.

День главных скачек выдался чудесный. Грунт был сухой, что порадовало Числова: Мэри любила твердую почву. Но и Лэди лучше шла по сухому.

«Как бы Гром не пропал, — думал Болотников. — Скользит он как-то...»

Гигантские трибуны для публики были полны: казалось издали, что миллионы грачей опустились сюда отдыхать.

Около беседки для членов, владельцев конюшен, собралось самое богатое, что проживало в столице. Разноцветные платья, пышные шляпы, кружевные зонты, вся эта пестрота веселой толпы кольцом охватила беседку, против которой торчал серенький столбик. Отсюда должна была начинаться скачка, здесь же был и конец.

В самой беседке, возле аппарата, измеряющего скорость, сидит председатель в кресле и члены. Граф Запольский курит сигару и о чем-то толкует со стариком Васильковским. Серые глаза старика что-то смеются сегодня. Тут и князь Островзоров, граф Дуббельт, и известный богач и заводчик Флеровский-Калинский, и лысый толстяк Ивановский. Задумчиво прислонился к колонке

знаменитый спортсмен Грибский. Он взволнован и бледен: его лошадь Жаннет конкурирует с Лэди... В уголке, сзади, сидит скучный Мэзон: его лошадь Рахиль вчера заболела и снята с афиши.

— Так вы за Лэди? — говорит Васильковский соседу.

— Да.

— А Жаннет?

— Ее я считаю второй... Гром, пожалуй, возьмет третье место.

— А Мэри?

— Мэри... мм... я и забыл вашу фаворитку... Пожалуй, третьей придет она.

— Она придет четвертой... Я за Грома, — сказал граф Запольский. — Ваш Петров плоховат... Сядь на ней мой Гальтон, она могла бы быть, пожалуй, второй или третьей.

— Ну, вас можно поздравить заранее, — заметил граф Дуббельт. — Для моего Джека вы не оставляете даже третьего места.

— Почему же? ваш чудесный Джек может побить Грома...

— Вас просят, — доложил лакей Васильковскому. Наездник Петров почтительно докладывал ему что-то.

— Так... так... ну, что же... пусть едет... очень хорошо. Какое дело, господа, — обратился Васильковский к членам: — Мой Петров передал мне, что не может скакать на Мэри...

— Отказывается? Значит, она не пойдет?..

— Почему же? Нет, она не отказывается... На ней поедет... — он остановился... — сам старый Числов!.. Он просит позволить ему скакать...

— Федор Числов?.. он?.. он?.. — раздались голоса.

— Да, господа... этот старик... Он ведь готовил Мэри... Ведь эта лошадь его, как вы знаете... Я с вашего согласия

пускаю ее под своей фирмой... Надо же доставить старику удовольствие вспомнить старое время.

— И с треском провалиться... ха-ха-ха... — засмеялся Запольский. — Вот чудной старикашка!

Он смеялся непринужденно, покусывая сигару.

— Пусть возьмет третье место, — сказал Грибский. — Да, когда-то он был знаменитым жокеем... Его недаром боялись... Прошли его дни...

— Хорошо, — сказал председатель. — Прикажите переставить фамилии.

— Что такое? что?.. — заволновались трибуны. — Снимают кого-то... Мэри не идет?.. Нет, это Петрова вытащили... Кто же поскачет?

Бинокли следили. К высокой железной раме, где висели дощечки с номерами лошадей и фамилиями жокеев, подошел конюх и снял Петрова. Остался пустой № 6.

— Да кто же поскачет? — шумели в трибунах.

— Федор Числов!.. Числов!.. Кто? какой Числов? А-а... это тот... Запольского бывший... А говорили, он умер... Вот так умер! Помните, он провалил Цезаря...

— Ага! так это он, старина?.. Лезет еще... Лавры Гальтона соблазнили... — засмеялся кто-то. — Что ж, это весело...

В общем, публика отнеслась безучастно: Числов уже почти был забыт, так как Гальтон затмил всех.

Дали первый звонок.

«Донни!..»

Лошадей звали на круг. На трибунах притихли. Вдали от конюшен показалась первая лошадь. Синий камзол с белой лентой.

— Гром!.. — пробежало по трибунам.

Черный, как уголь, с белым пятном на лбу, вразвал-

ку шел Гром. Он выбрасывал вы стороны свои на взгляд тяжелые ноги. Маленький Болотников чуть виднелся из-за крутой головы: он сильно откинулся, сдерживая своего гиганта.

— Здорово, Болотников! держись бодрей! — крикнуло несколько голосов.

— Жаннет! вон Жаннет... на повороте!.. видите красный камзол, желтые рукава... Это Кэт едет...

— Браво, Жаннет, браво!..

Вся белая, подтянутая, точно борзая, проходила Жаннет легким галопом. Она порхала снежинкой.

Тоший, с красным лицом, стоя на стремях, не смотря на трибуны, пронесся Кэт, жокей Грибского. Он сегодня взволнован: предстоит борьба с Лэди.

— Браво, Кэт!

Кэт осадил снежинку, нагнулся, что-то поправил, уронил хлыстик. Конюх подал ему. Кэт прощупал шею Жаннет, надвинул картуз и понесся к беседке.

Белый камзол с зеленой через плечо лентой сверкнул на дальней стороне круга: гнедая, плотная, точно свинцовая лошадь скакала к трибунам.

— Пуля идет, как машина!.. Чего он гонит ее, этот Чванов? Чванов, не гони-и!! — зашумели трибуны. — Как мешок сидит...

Танцую, приближается Лэди... Она неспокойна: конюхи держат ее. Все ближе, ближе... Вот отскочили в стороны, и Лэди пошла ровным, легким аллюром, мотая тонкой головкой, она очень эффектна. Гордая шейка закинута и прижата к широкой груди. Белоснежный Гальтон хлыстом щекочет Лэди под шейкой.

— Она! браво, Лэди! браво, Гальтон!..

Англичанин гордо смотрит в толпу: он так уверен в победе. Плотная фигура графа показывается у беседки.

Он трогает Лэди за холку, щупает ноздри обтянутой в перчатку рукой.

— Как она?.. вы уверены? — тихо говорит он Гальтону.

— Уэсс... да... — говорит англичанин. — Лэди в порядке...

— А Мэри?..

Англичанин поправляет картуз.

— Мэри?.. Нэт... нэт... ви увидит... она не сильный лошадка... У старика дрожат руки... я видел...

Он улыбается и пускает Лэди галопом.

Быстро промахнул рыжий Джек, бросился в сторону и чуть не свалил жокея в зеленом камзоле. В публике смех. Прошла Крошка Каминского.

— А это кто? Мэри? золотистая... белые ноги... Что она топчется так? Пошла... пошла... Да она меньше всех! Она сейчас сбросит эту старую рухлядь! Смотрите, как идет!.. Да она не хочет идти...

На повороте, влево, светится желтый камзол с алой лентой. Красный картуз едва виден.

— Вон старый Числов!.. ишь, согнулся, как ерш!..

— А хороша Мэри!.. Как пчелка, право... Нет, какова она рядом с Громом!.. А старик куда лезет?.. Ну, пусть потягается...

Опустив сухую головку, боком подвигается Мэри, выбрасывая белые ножки. Дрожь пробегает по ней. Согнувшись, проезжает Числов трибуны. Его тянет взглянуть в черное море голов, туда, где когда-то с восторгом выкрикивали его имя, где теперь так невнятно гудят голоса. Перламутровый хлыстик крепко сжат в дрожащей руке; упрямо, не отрываясь смотрит старик в подрагивающую золотистую гривку. Он слушает... Точно застыло сухое лицо, пузырем вздувается желтый камзол на спине.

— Фюйть... фюйть...— как удары хлыста по лицу, упали с трибун два-три свистка: старые «друзья» приветствовали старого жокея.

— Как заяц на заборе!.. да он разучился сидеть!.. он совсем сполз на шею!

— Еще бы!.. это его старая посадка... он хитер, старина! Не упади, старик!..

Старый жокей слышит. На лбу выступил пот, дрогнул хлыстик, конвульсивно натянулись поводья и остановили Мэри. Опять это давно знакомое ощущение приятного страха, но это скоро пройдет... «Подождите, Мэри зажмет вам глотки...— думает старый жокей.— Ну же, Мэри, ступай...»

Подъехал Гальтон, остановились, здороваются, Мэри и Лэди косятся, танцуют, хотят дотянуться, чтобы лизнуть друг друга.

Жокеи натягивают поводья и разъезжаются, зорко осматривая лошадей.

«Старик беспокоится... Мэри недурно выглядит»,— подумал Гальтон.

«Он уверен в победе... Какая широкая грудь у нее»,— сказал про себя старый Числов.

Они обернулись, встретились взглядами и заторопили лошадей.

К Числову подошел Болотников на Громе.

— Как, старина, а?.. видал Лэди? Хотя бы второе место досталось... Ну, что Мэри, как?

— Не знаю...— пробормотал Числов,— не знаю... горячится она сегодня... боюсь... с места плохо берет...

Он протянул руку товарищу, и Болотников увидел растерянный, точно выпрашивающий взгляд...

— Ничего, ничего, Федя... не теряйся...— сказал он, пожимая холодную руку товарища, а сам подумал: «Эх, не тот он, не тот... пропадет».

«Донни!.. донни!..»

Лошадей призывали к старту. С красным флажком уже стоит высокий брюнет у столба. Он будет пускать.

— Станови-ись!.. выравня-айсь!..

Заторопились жокеи, скачут к беседке, натягивают плотней картузы, ровняют поводья.

Зорко смотрит человек с флагом. Притихли трибуны.

— По нумерам! по нумерам! Кэт, на свое место! Числов, не выскакивай!.. шире, не жаться! — как на пожаре кричит председатель.

Лошади храпят, фыркают, выбрасываются, поднимаются на дыбы. Их охватило чувство задора.

— Числов! держа-ать Мэри... — кричит председатель.

От барьера, по внутренней стороне круга, стали: Гром, Пуля, Джек, Лэди, Жаннет, Мэри, Крошка и еще четыре...

Флаг рванулся, сделал зигзаг и упал.

«Дзиннь!..»

Пошли...

Черная масса трибун глухо ахнула и затихла. Вытянулись головы вправо. Бинокли следят за пестрой кучкой жокеев.

Мэри забилась на старте...

В голову ударило Числова, завертелось в глазах. Выплыл белоснежный камзол саженях в четырех впереди. Черный Гром с темно-синим пятном жметя к барьеру. Пуля скачет, чтобы перерезать дорогу. Снежинка Жаннет выбирается правым полем... А Мэри...

Кажется, целая вечность прошла... Нет, только секунда потеряна. Сгорбился старый жокей, перевалился почти на шею Мэри, а та уже ровно идет, пригнувши белые уши.

Граф Запольский откинулся в кресле: теперь все решилось, Лэди возьмет.

Вот она уже обходит Жаннет, Джека, Гром отступает, хлыстом бьют рыжего Джека.

Старый жокей не опасен: он далеко позади всех.

— Лэди!.. Лэди!.. — гремят трибуны. — Жаннет! Пропаала Мэри!.. Смотрите, Гром опять выходит!.. Молодчина Болотников!..

Бегут секунды... Плавно пощелкивает тонкая стрелка аппарата в беседке.

То опускается, то подымается золотистая Мэри. Впереди торчит чей-то хвост, противный, надоедливый хвост, почти щекочет волнующиеся ноздри... Надо достать его, надо...

Чик-чик... чик-чик... — звенит что-то сзади. Это перламутровый хлыстик постукивает по ремню. Знакомое что-то... Уже нет впереди хвостика, влево белеет камзол, на нем зеленая лента.

— Цо-цо-цо-цо... цо-цо... так... так... Мэри... цо-цо... — шепчет старый тревожный голос.

«Чик-чик... чик-чик...»

Плотней пригибаются белые ушки. Вертит поводьями старый Числов, свистит по козырьку ветер. Знакомое чудится Мэри... Так свистело там, где старый вяз.

...«Трррр... трррр... — трещит от ветра камзол, — трррр...» Опять знакомое. Так ворчал милый Жук, пожимаясь от холода...

— Мэри... Мэри!.. — шепчет знакомый голос, не шепчет, а молит.

Чья-то спина сбоку, влево... Ага! это Пуля с упорством отступает назад. Опять впереди чей-то хвостик, зеленый пузырь так противно трещит...

Ровно колышется золотая гривка. Зоркие глаза упорно смотрят в покачивающуюся шейку.

«Нет, не устала... нет пота», — думает Числов.

Слева отступает зеленый камзол. Джек храпит сзади. А впереди пестрыми пятнами дразнят глаза шелковые камзолы, вертятся хвостики...

«Надо достать...»

Ниже к земле чувствует себя старый жокей, звончей режет по картузу назойливый ветер. Сильней стелет золотистая Мэри.

Резко гикает Болотников сбоку, мокрый Гром глухо бьет в землю тяжелым копытом. Вот впереди вертится в воздухе хлыст... Что это? Желтый рукав, белый круп... Ага! это Жаннет, сдается Кэт, бьет снежинку хлыстом.

— Жаннет бьет!.. — доносится эхо трибун. — Мэри выходит! Мэри идет!.. Мэри!..

Старый жокей слышит все.

— Цо... цо... цо-цо-цо... так... так... голубка... цо-цо...

Уставать начинают старые руки, колесом ходят, дают и принимают поводья.

Вот саженьях в двух впереди белоснежный камзол, темно-рыжая Лэди сверкает подковкой. Еще ближе... еще...

— Лэди! Лэди!.. Гальтон идет!.. На прямую выходит! — гремят впереди трибуны. — Где Лэди?.. Ведь это же желтый камзол!.. это Мэри!.. смотрите, Лэди порют хлыстом!.. пропадет Лэди!..

Похолодел старый жокей: он видит на золотистой шейке крупные капли... Взмокла дрожащая гривка, что-то хрипит внизу...

— Лэди выходит!.. садится Мэри!.. Bravo, Гальтон!..

Столб впереди, — сажень тридцать осталось. Гремят восторгом трибуны. Бегут конюха из круга. Фотограф держит моментальный затвор.

— Браво, Лэди! Пори ее, бей! бей!.. бей, Гальтон!..
Хрипит у Мэри в груди. В струнку тянется тонкий корпус. Едва сидит старый Числов, немеют руки...

Только десять сажень осталось.

— Ага!.. сдается... сдается... — почти хрипит Числов и только теперь поднимает перламутровый хлыстик. Раз!.. раз!.. раз!..

Молнией ринулась Мэри, золотистой стрелой скользит над землей. Вот он, надоедливый хвостик, пропал сбоку... Ползет назад белоснежный камзол, желтое лицо англичанина; вытянулся он, вертит хлыстом, как винтом.

И слышит он голос:

— Мэри!.. Мэри!.. цо-цо-цо...

— Мэри берет!.. Браво, Числов!.. Сдает!.. Лэди выходит!.. Браво, Гальтон!.. Браво, Числов!..

— Мэри!.. Мэри... Лэди пропала!.. Вот она, Мэри!.. «Дзинь!..»

Кончилась скачка. Гремят трибуны, точно морские валы. Люди бегут...

Старый жокей лежал не земле, далеко за столбом, рядом билась ногами непобедимая Мэри.

— Доктора!.. доктора!.. Кровь идет горлом!.. А с ним что? Подымите же старика!.. — кричат и суетятся кругом.

Числов поднялся. Под ногами он увидал голубые глаза, мокрую гривку, сбитое на бок седло и ясные подковки на белых ногах.

— Она надорвалась! — говорил кто-то.

Числов рванулся вперед, споткнулся. Его кто-то схватил, с ужасом смотрел он на алую струйку.

— Мэри!.. Мэри!.. — стоном вырвалось у него. — Убил!.. убил!..

Он сорвал с себя красный картуз, рванул желтый камзол. Он задыхался. Перламутровый хлыстик, сломанный, валялся около головы Мэри.

— Позвольте-с...

Плотный ветеринар в офицерском пальто нагнулся к Мэри. Публика бежала с трибун.

Старый жокей тупо смотрел в одну точку: он не мог оторвать взгляда от голубых, тихих, печальных глаз, теперь уже полузакрытых.

— Пристрелить! пристрелить!.. Зачем мучить?.. — кричало несколько голосов.

— Пристрелить?! Она... умерла?.. Мэри умерла? — спрашивал растерянно Числов.

Он стал опускаться, зашатался, но его поддержали.

— Кровохарканье... — услышал он голос ветеринара. — Она надорвалась... Лопнуло несколько кровеносных сосудов в правом легком. Она оправится...

Шепот облегчения пробежал по толпе... Числов опустился к голове Мэри, обнял за шею и тихо, как ребенку, сказал:

— Мэри!.. ты жива!.. я не убил тебя... нет... нет... я не мог убить тебя, Мэри... не мог...

Он говорил ей, а она смотрела печально, точно что-то хотела сказать.

— Только уж для скачек она не годится! — сказал ветеринар, закуривая папиросу.

— Жаль... Вы, Федор Ионыч, целый капитал потеряли... Мэри стояла бы больших денег.

Числов мрачно оглядел всех и отвернулся, точно хотел сказать: «Уйдите прочь!»

Мэри зашевелилась: она хотела подняться. Ей помогли, и она, широко расставляя ослабевшие ноги, пошла за хозяином. Публика волновалась на трибунах.

Конюха поспешно закрывали попонами дымившихся лошадей.

— Пожалуйте... сейчас господин председатель сошли... будет передача приза, — сказал распорядитель Числову.

Оркестр заиграл туш.

— Числова! Числова!.. Мэри!.. Победительницу! — гремело с трибун.

Старый жокей смотрел в землю.

«Ступай же и получай приз!» — насмешливо кричал в душе голос.

Г л а в а X I

ИТОГИ

Сентябрь уже позолотил вершину старого вяза. Тысячи листьев покрыли новую зеленую крышу домика. Его уже нельзя узнать. Белый забор протянулся красивой узорчатой лентой. Маляры красили резные ворота. Поправленный домик уже не имел сиротливого вида: он подбодрился, выпрямился, крылечко игриво выступило во двор, белая труба весело посылала к небу синеватую струйку дыма. На месте сарая протянулся бревенчатый сруб теплой конюшни, крытой железом. У самых дверей ее уютная конура с коньком и соломой внутри.

Был вечер. Гасла заря на вершине старого вяза.

Жук собирался зайти в конуру на ночлег. Воробей, вылинявший и теперь точно покрытый лаком, чистил носик на крыше конюшни. Клонило ко сну, веяло тишиной и покоем.

— Вот и конура у вас... чик-чик... — сказал воробей.

— Да... конура...

— И новый забор... домик поправили... Мэри в теплой

конюшне... Что!.. помните, я говорил вам?.. Мэри сделала свое дело... А вы не верили все...

— Да...

— У-ух... у-ух... — глухо отдалось в конюшне.

Воробей вздрогнул. Жук ниже опустил голову.

— Слышите?.. что это с ней? — спросил он. — Тогда этого не было...

— Да... особенно ночью... Я слышал, что это болезнь...

— Болезнь? — еще ниже опустил голову Жук.

— Мэри стала не та... Помните, как она пугала меня в кормушке?..

— Да... да...

— Теперь этого нет... и мне скучно. За ночь она не скажет ни слова, а овес лежит днями... Мне жалко ее, Жук...

— Ах, не говорите!.. Мэри уже не подымает свою подковку. Помните, когда она вернулась, я бросился к ней, схватил лапами ее ножку... а она нагнулась, полизала меня и так печально взглянула... Я плакал всю ночь... Что с ней?.. Как я хотел бы вернуть прежнее время!..

— У-ух... у-ух... — кашляла Мэри.

— Я, знаете, почти не ночую в конюшне, — сказал воробей. — Мне страшно от этого уханья... А хозяин-то стал еще скучнее. На днях я видел, как он стоял на конюшне и плакал. Смотрите, вот он идет...

Дверь домика отворилась. Хозяин, желтый, худой, небритый, спустился с крылечка, отпер конюшню и вывел Мэри.

— Ну, погуляй... подыши... голубка...

Мэри остановилась возле колодца. Она опустила голову и смотрела в землю, раздумывая о чем-то... Плечи ее провалились, влажная шерсть потускнела, гривка не топорщилась щеткой... Ввалились бока, гнулись тонкие ноги...

— У-ух.. у-ух..

Мрачно глядел на нее старый жокей. Что он думал?..

Качаясь, подошла Мэри к Жуку, понюхала морду, фыркнула и отошла к конюшне.

— Что же, не хочешь гулять?.. все лежишь... ноги дрожат у тебя... — сказал старый жокей.

Мэри подняла голову. Слабые голубые глаза ее стали больше и глубже.

— И-их... у-ух... у-ух...

Она хотела заржать и закашлялась, бессильно трясая головой.

— Подожди, я покрою тебя...

Он прошел в дом.

— У вас... конура новая... Жук, я очень рада...

— Ах, не все ли равно? — сказал Жук. — Я вас так редко вижу... Вы, Мэри, забыли меня...

— Нет, что вы... я только немного устала... после скачки... и не могу стоять... и играть с вами, Жук... Раньше, когда я была в старой конюшне, я играла... а теперь... Жук, вы помните Ваксу?.. Ну, вот... и я стала такой же...

— Здравствуйте, Мэри!.. Вы не забыли меня? чик-чик... — спросил воробей.

— Ах... это вы... Мне трудно... поднять голову... Я вас плохо вижу... нет... нет... я вас помню... Но почему вы не кричите так, как тогда?

— Невесело мне... чик-чик... — грустно сказал воробей.

Из домика вышли хозяин, Анна Федоровна, Надюшка и Сенька.

— Мэли!.. Мэли!.. — захлопала Надюшка руками. — Покатай, дедуска!..

— Нельзя. Мэри больна...

Все замолчали. Сенька смотрел исподлобья. Старик надевал на Мэри попону.

— У-ух... у-ух...

— Дедушка, зачем ты уводил Мэри? — вдруг спросил Сенька. — Она была здорова тогда... Зачем ты уводил ее, зачем?..

Старый жокей ничего не сказал и повел Мэри в конюшню.

Долго сидела семья на крылечке. Потемнел старый вяз. Ночь опускалась на домик.

— Зачем все это случилось? а-а-а... — глухо сказал старый жокей. — Лучше бы не возвращаться совсем...

Он положил голову на руки.

Проклятая слава!..

Осенней ночью, когда гудел старый вяз, воробей вдруг проснулся. Его испугал сон. Бил холодный дождик в окно. Что-то хрипело.

Воробей в страхе метнулся, ударился в стенку и опустился. Стало тихо-тихо.

— Мэри!.. это вы?..

Тишина. Слышно, как скрипел за стеной старый вяз.

— Мэри! Мэри!!

Ни звука.

Он почувствовал под собой что-то теплое, влажное.

— Это вы, Мэри?!

Он скакнул раз, другой... Это гривка, — она не дрожит!

Он ступил на голову, на ноздри, сел на ухо... Твердое ушко не дергается.

Ему стало страшно. Он нашел знакомую щель и попал под холодные струи дождя. Вот в темноте белеет конурка.

— Жук!.. проснитесь!!

— Что такое? что?..— высунулась лохматая голова.

— Мэри... там... умерла наша Мэри... Жук, что нам делать? чик-чик-чик...— затерялся печальный писк в шуме ветра.

Жук вылез, нагнул морду к земле и завыл...

— У-у-у-у...

В доме было темно. Скрипел старый вяз, падали листья. Тревожно спал старый жокей.



Последний выстрел

Рассказ

I

Теперь я могу отдохнуть месяца два, встречать июньские зори на Оке, дышать в лугах, слушать тихий звон бора.

Налегке еду я в маленькую слободку под старым мо-

настырем. Там, за стенами, чинно ступают черные монашеники, тысячи грачей и галок гомозятся на кровлях, а кругом звенит иглами вековой бор...

Вот и слободка. Она укрылась от городка стенами леса, она глядит на луга и Оку. Я поселяюсь в уютном домике, на самом краю поселка. Над моею крышей вековая сосна протянула корявые ветви.

Ясное июньское утро. Я открываю окно в бор. Он приветствует меня ароматом смолы, звоном вершин, стуком дятла и серебряным выкриком ястребов. Я вижу их плавный полет в синеве. Под окном слышу я хорошо знакомые мне голоса «корольков». Это мои питомцы.

В маленькой городской комнате появились они на свет из простенького инкубатора, росли в вате, в коробке из-под печенья, привыкли к моим шагам, к голосу, к лампе. Днями сидели они у меня на плече или устраивались вечером поближе к огню и засыпали, положив на шейки друг другу свои пучеглазые головки. Когда я покидал город, я не мог оставить их, подарить, бросить. Они приехали со мной в коробке из-под печенья и теперь важно разгуливают под окном, греясь на солнышке.

В синей блузе и соломенной шляпе брожу я по бору, засиживаюсь на пеньках на поляне, где так густо пахнет смолой и выжженный мох под ногами прячет столетние корни.

...Пы-ыррль... пы-ыр-р-л-л-ль...

Над моей головой кружат ястреба, плавают, не двигая крыльями. Это хозяева бора. Десятки огромных гнезд прячутся в густых вершинах, и только по перьям задранных птиц и по костям на земле можно заметить убежище хищников. Я люблю смотреть, как, усевшись на самую вышку сосны, сторожат они зорю, окидывая пространство.

Да, это настоящий ястребиный бор. Странно, как еще

осмеливаются постукивать по дуплам пестрые дятлы, пробуют петь молодые дрозды, вскрикивают желтогрудые иволги. Конечно, в полутемном бору ежечасно разыгрываются птичьи драмы: нет-нет, пискнет в последний раз бойкая, востроносая синичка или чвокнет врасплох попавшийся дятел, но эти крики тонут в звоне вершин и победных звуках ястребиного «пырльканья».

Часто отправляюсь я на Оку и с Семеном Федоровичем, монастырским дьячком, ловить окуней под железно-дорожным мостом. Солнце печет, перекликаются плотогоны, а белые чайки рядками сидят по отмелям. Какое приволье! Пузатые лошаденки тянут берегом баржи, и черный канат, вздрагивая, плывет над нашими головами. Солнце — отвесно, полдень, пора закусить. Мы бьем о борт лодки печеные яйца, посыпаям грязноватой солью из какой-то жестянки, и дьячок начинает мечтать об охоте: скоро Петров день.

— А вы как? обзавелись ружьишком?

— И не стрелял никогда.

— Да неужели? Да тут, я вам доложу, — на лугах, да болотах, да к озерку-то такая прорва утки этой, — сила несосветимая... Нырок, кряковая... а чирят этих — тучами... — соблазнял меня дьячок. — А коростели к осени! Господи! А дроздов по осени в рябинниках... а курочки!.. а кулички!..

— Нет уж... я люблю вот на удочку...

— И напрасно. И очень даже напрасно... Гуси бывают! Тетеревов в дальнем бору — тьма! Сами лезут под ружье... Так вы что же это... из убеждения, что ли, не стреляете-то? Бывают такие...

— Как сказать... Отчасти, пожалуй...

— Та-ак... И что я вам объясню: утки переводиться стали... — с грустью сказал дьячок. — Ястребов развелось, — весь бор заполонили. И вот как глушат... прямо

непостижимо! И чешутся руки, да зазорно... Монашки наши жалеют, мать игуменья... Монастырский бор-то... «Тварь, говорят, у нас убежища ищет, под благословеньем обители гнезда вьет»... А эта тварь дичь бьет...

Со стороны монастыря докатывается до нас первая «повестка» к вечерне. Это мать Пелагея призывает дьячка с реки.

— В самую бы пору ловиться теперь... э-эх!..

Вечера я провожу на опушке бора, где он спускается к озеру. Здесь столпилась целая группа засохших сосен. Им мешает жить стадо, укрывающееся в жаркий день. Почва вытоптана вокруг, с сосен упала кора, и голые сучья уныло тянутся в небо. На них отдыхают обитатели бора — ястреба, провожают вечернюю зорю.

В темнеющем небе вижу я их. Сидят, обратив клювы в сторону запада, еще играющего червонными лучами. Тихо. Редко, редко хрустнет сучок. От кутающегося в тумане озера доносится тоскливый разговор камышовки, той неизвестной птички, которая, как описывает в одном рассказе Чехов, спрашивает себя печально:

— Ты Ни-ки-ту ви-дел? — и отвечает:

— Ви-дел... ви-дел... ви-дел...

Перестали болтать с ветром вершины сосен, бор задремал... и вот, последний свидетель уснувшего дня, прямой линией, как стрела, протянул с лугов запоздалый ястреб.

II

Мои милые бедняжки-корольки! Кажется, я совсем позабыл их. Они отлично знают, где окно моей комнаты, и целый день толкутся здесь, вытягивая шейки, стараясь заглянуть. Не видя меня, они начинают пищать, как пи-

щали когда-то от холода в коробке из-под печенья, просясь на руки.

Да, это чистые ребятишки, круглые, как яблочки, белоснежные, как сливки. Они привыкли засыпать на моем плече, забираться в рукав и своими тонкими песенками выражать полное удовольствие. Теперь им скучно, и потому так грустно стоят они под окном, вытягивая шейки. Утром они ждут хлебных крошек и, когда я появляюсь на крылечке террасы, снежными комочками подкапывают к ногам, прыгают и хлопают еще слабыми крылышками, стараясь взлететь на плечо.

На днях один из них издал смешной крик, похожий на «ку-ку». Очевидно, один — петушок: он несколько больше и сильнее своей подружки. Он очень смешно разгребает лапками землю, чиркает носом по лапке и вообще проявляет наклонности покровителя своей скромной подружки. А та, еще слабенькая и пугливая, ходит всюду за ним и выбирает что-то из взбитой им кучи сора.

Вчера я вернулся домой поздно и не нашел корольков в их убежище, в корзине из-под белья.

Я встревожился, оглядел все закоулки двора и вошел в комнату. Да, они здесь! Они спали, усевшись по краям дорожного чемодана, точно указывая этим, не лучше ли ехать отсюда опять в свою комнатку, где так хорошо жилось у печки или возле лампы. Они, плуты, влетели, конечно, в окно и хотели напомнить, чтобы я не забывал их. Я оставил их спать, и ранним утром один из них разбудил меня своим звонком, смешным «ку-ку»... Ах, злодей! Этот разбойник назойливо требовал исключительного внимания. Он хотел видеть меня всегда и в четыре часа утра требовал, чтобы я не лишал его солнца. Ну, что же! Я не замедлил вскочить и выкинуть в окно этих ранних любителей природы.

...Ку-ку!.

Это «ку-ку» я слышал в последний раз, словно он забрался ко мне для того, чтобы проститься совсем.

III

Утром я пью чай на открытой терраске и читаю. Мои маленькие надоеды торчат под ногами, вскакивают на стол и тычутся носами в сливки; они бродят по сухарнице, щиплют хлеб и заглядывают в блестящие бока самовара. Они воображают, что все это устроено для них и мои плечи и голова должны заменять им нашеств.

Я читаю, не обращая внимания на назойливость; но, когда один из комочков опрокидывает мне на колени стакан, я быстро принимаю меры и выбрасываю надоед за заборчик, во двор.

...Пырлль... пы-ы-р-р-рлль...

А, это властные хозяева бора приветствуют меня из синева. Что-то глухо шуршит по железной крыше, — должно быть, ребятишки бросаются комьями глины. Да, конечно, они. Они что-то кричат за забором. Что-то широкой тенью пронеслось надо мной; что-то пискнуло.

Что такое? Со всех сторон закричали тревожные куриные голоса, и снова широкая тень. Я поднимаю голову. Громадный ястреб спокойными ленивыми взмахами поднимается в небо, тянет над бором. Крики ребят, всегда наблюдающих за мною в щель забора, смешиваются с кудахтаньем растревоженных кур, и ясно выделяется чей-то звонкий голос:

— Унес!.. унес!..

Я выбегаю во дворик. Куры жмутся у стен; петух, какой-то весь встрепанный, бегаёт по двору, раздраженно перебирая ногами. Где коровки? Их нет... Я заглядываю в сарай, осматриваю углы, — нет. Я выбегаю во двор. Изпод опрокинутой тачки пугливо выглядывает маленькая

беленькая головка с едва намечающимся пунцовым гребешком.

...цып-цып...

Но королек застыл, не выходит и даже не поворачивает головы. Теперь я понял все! Моего петушка, который сегодня на зорьке разбудил меня своим смешным «ку-ку», нет. Теперь он — там, в бору. Его подруга видела все, слышала последний крик и теперь дрожит под опрокинутой тачкой.

— Твоего уволок, махонькой-то который... Я видал, и Андрюшка видал, как он его ухватил... Как сгребет...

— И я видал!

Ребятишки виснут на заборе и спорят.

— Мишка-то тебе кричал, как он на крышу-то присел...

Я стоял на дворе среди затихавших куриных криков. Я был потрясен, точно потерял самое близкое. Да, близкое. Мой королек был действительно мой, близкий мне. Я дал ему жизнь. Из мертвого яйца терпением и любовью я добыл живое существо, полюбил и заставил полюбить себя. Мой королек делил со мной вечернюю тоску, засыпал на плече, попискивая над ухом вечернюю песенку сна. И нет его. Злая сила вырвала у меня кусочек моего сердца и теперь, не раздумывая, рвет где-нибудь на сосне снежные перышки, запускает железный клюв в еще трепещущее тело.

Я безнадежно смотрю в небо, гляжу на вершины бора. Он по-прежнему звенит иглами, и солнце по-прежнему печет и светит. Как будто ничего не случилось.

— Побегем, Мишка!.. Сенька, бегем!.. — слышу я.

Они бегут в бор. Я забываю испуганного королька и спешу за ними. Между стволами мелькают розовые рубашки, слышны перекликающиеся голоса...

Я хорошо знаю бор, знаю любимые места хищников.

Мелкий соснячок. Я продираюсь, ломаю мелкие отсохшие ветки, топчу обглоданный скелет задранной галки, вспугиваю сереньких, болтливых дятликов, ищу белые перышки. На вершине усохшей сосны, изъеденной червями и избитой носами дятлов, замечаю я ненавистную теперь фигуру ястреба. Он, кажется, дремлет под солнцем или притворился, высматривая кое-что. Я сжимаю кулаки, ищу, чем бы ударить спокойную птицу.

По лесу мечутся ребяташки, кричат что-то. Я иду на голоса.

— Здесь! здесь!.. Во-он... полетел... Да вон там...

Все столпились на небольшой полянке, что-то рассматривают, трогают...

Да, здесь был он и спокойно доканчивал королька. На сухой хвое нежные белые пушинки шевелились под ветерком. Мишка держал в руке уцелевшее снежное крылышко.

— Эва, как обработал-то...

Я взял крылышко и молчал.

— Вон он... во-он! — крикнул кто-то.

Мы все подняли головы.

Над вершинами, высоко в синеве, плавно кружился ястреб, звучно выкрикивая переливчатое «пы-ырррль... пы-ы-р-р-р-р-ллль...». Был ли это он, не знаю. Но теперь, теперь для меня все они стали равны.

— Эх, ружье бы!.. Цопнул бы я его! — сказал Мишка.

Я взглянул на Мишку. Его загорелое лицо со сжатыми оскаленными зубами изображало непреклонную волю.

— Что, жалко? — спросил я, пряча в карман белое крылышко.

— У них он тоже одного схватил намердн... — сказал один из ребят.

— Жалко, не жалко, а уж... цопнул бы... Ссссс...

Он вытянул руки и присел.

— Во-он... во-он сидит... за суком-то... — зашептал он. — Да вон, за сосной-то...

Мы все присели. Теперь я видел его, совсем близко, шагах в пятидесяти. Меня влекло к нему что-то — желание ближе увидеть своего врага. Да, это уже был мой враг, — тот ли самый — не знаю, но это уже был враг. Я подходил ближе, ближе; я видел желтоватые ноги, пестрое брюхо, всю красивую сильную фигуру. Он, должно быть, тоже заметил меня и не боится, внимательно поглядывая вниз. Он точно смеется надо мной, чувствуя себя недоступным.

— Еще вон! — шепчет кто-то за моей спиной. — Их тут страсть.

Я смотрел, и на сердце у меня кипело.

— Они теперь и другого стащут... вот посмотри... обязательно... — сердито говорит Мишка. — Уж теперь он углядел... не миновать... А вот взять бы... да как зачать из ружья...

Мишка точно прозревал мои мысли. Теперь-то я знаю, что мне делать... знаю... Если бы эти пестрые хищники знали, что ждет их, они не посмели бы даже взглянуть на моих корольков, не сидели бы так спокойно в вершинах, щуря подрагивающие глаза на солнце.

Я уже не смотрел на него, я угрюмо глядел на играющие под ногами от ветра пушинки, я ощупывал белое крылышко, еще час назад приятно щекотавшее мои щеки.

Война!.. Война не на жизнь, а на смерть! Здесь, на полянке, впитавшей последние капли крови моего королька, я решил. ...Мой бедный корольек! Я заставлю их долго помнить тебя! И вы, безвестные пичужки, славки и малиновки, дятлики, беззаботно порхающие в кустах; вы, звонкие иволги и синички, уже обреченные на гибель; хлопотливые простоватые дятлы и беспомощные утки, — теперь вы скоро будете спать спокойно!

Теперь...

— Семен Федорыч дома?

Я стою под окнами дьячка и взываю.

— Дома... он самый... Здравствуйте! За рыбой, что ли? а не жарко?..

— Нет, не за рыбой... Будьте добры, дайте мне ваше ружье...

— Ружье... Да ведь вы...

Он удивленно глядит на меня и как будто посмеивается.

— Да, да... и все прочее... но дайте мне ружье!

Он морщит лоб, отчего лицо его принимает совиное выражение, еще внимательнее всматривается. Вот чудак.

— Да ведь до Петрова дня нельзя...

— Знаю, знаю... это не имеет значения.

— Извольте... — цедит он сквозь зубы, поводя плечом. — Мне что!.. только хищников разрешается... ястреба там...

— Вот именно!

Он напомнил мне о корольке.

— Ну, давайте же ружье, чего вы...

— Ого! всурьез дело пошло... Ну-ну... значит, постреляем теперь...

Он засмеялся, скрылся в глубь комнаты и сейчас же вышел на крыльцо со своей дешевенькой двустволкой...

— Штучка!.. А стрелять-то умеете?.. Вот здесь вот сперва...

— Знаю... знаю... спасибо.

— Счастливого поля! — крикнул он мне вслед. — Лисицу ежели — пополам!

Смейтесь, смейтесь, почтеннейший! Мне не до смеху. Я знаю, что там, запертый в комнатке, меня уныло встретит королек, моя бедная сирота.

Все брошено и забыто.

И свежие утра на окраине бора с деловитым постукиванием дятлов, с тихим гулом вершин; и жаркие полдни на Оке, в легком челночке за рыбной ловлей; и задумчивые вечера на лесных полянах, грустные сумерки, наползающие из-за потемневших стволов. Забыт и пугливый королек, теперь уныло просиживающий на замке дни и ночи и удивленно засматривающий под дверь.

Он, кажется, недоумевает, почему не выпускают его на волю; он — я уверен в этом — сердится на меня, не так охотно идет на руки, дичится и при моем приближении уходит под стол.

Все брошено и забыто. С утра и до ночи в тиши и глуши бора гулко прокатываются выстрелы. Я вижу только черные гнезда в вершинах; я высматриваю птичьи и рыбьи кости на мягком ковре хвои; настороженным ухом ловлю властные крики из синевы, ощупываю взглядом сухие вершины — сторожевые пункты их. Я подстерегаю их сон, оплошность, минуты отдыха после кормежки.

Мишка — ему лет двенадцать — неотступно сопровождает меня, ползает по кустам, выискивает, как хорошая гончая, прячется за стволами, чутким ухом ловит далеко — «пы-ырылль... пы-ы-р-р-л-л-л-ь»...

Ага! В этих криках я уже не слышу прежнего торжества и безмятежной силы. Они уже поняли, в чем дело; они уже не досчитываются кое-кого. Они не сидят так спокойно на обнаженных вершинах. Еще недавно я мог спокойно целиться в пеструю, смелую фигуру, точно в мишень, в то время, как гордая голова презрительно засматривала вниз, на вытянутую кверху стальную трубку... Но теперь... теперь они приняли вызов и пускаются на уловки.

Лишь только я вступаю в бор в своей синей блузе и соломенной шляпе, первый, попадающийся мне на глаза, хищник уже гремит из синевы на весь бор тревожным криком и крутыми изгибами исчезает быстро-быстро. Да, они знают, что я их враг. Они знают, где я живу, и, по словам Мишки, уже не залетают в слободку. Для них есть кое-что страшное там. Они, конечно, уже разглядели гигантские крылья своих сородичей, развешанные на стене сарая, — мои трофеи. Они, конечно, не могли не заметить старого ястреба, подвешенного на высоком шесте, в маленьком дворике, где когда-то беззаботно играли два белых комочка — мои корольки.

Каждый вечер забираются ко мне во двор ребятишки, разглядывают широкие крылья, еще недавно рассекавшие воздух, гордо распластанные над вершинами бора, теперь подсыхающие на солнцепеке. Они трогают их руками, удивляются, делают замечания.

— Двадцать первый! Вот как мы! — горделиво сказал сегодня утром Мишка.

— Да, в бору все реже раздаются звонкие крики, — реже и глуше. Бор вымирает как будто. Но зато ранними утрами звончей кричат милые иволги, с большим спокойствием и деловитостью стучат по дуплам дятлы.

Теперь я решаюсь выпускать мою сироту во дворик, и она прохаживается вдоль заборчика, смешно разгребает лапками землю, а десятки гигантских крыльев недвижно глядят на нее со стенки сарая.

Жгучее чувство утраты моего королька постепенно гаснет в моей душе, но я все еще охвачен непонятным азартом. Я увлечен войной со всеми ее хитростями и уловками. Между мной и ими протянулась невидимая связь взаимного наблюдения, азарта, с одной стороны, страха и ненависти, с другой. Да, ненависти... В криках их я слышу тревогу, злобу, ненависть. Они признали мою синюю

блузу, и я меняю ее на пиджак, а соломенную шляпу на фуражку. Я все еще терпеливо часами просиживаю в молодых зарослях и жду наступления вечерней зари, когда уцелевшие хищники осторожно, с трусливым и жалобным посвистыванием спешат навестить покинутые на день гнезда.

— Однако! — сказал как-то Семен Федорыч, завернувший ко мне попить чайку. — Как вы их!.. На будущий год, гляди, и гнезда бросят... А молодые-то уж вывелись, поди... Раньше бы вам захватить.

— Молодые?.. какие?

— А птенцы-то!..

Птенцы... Я точно забыл, что ведь и у них есть птенцы...

— Чего там, — вмешался в разговор Мишка, относивший и к себе часть успехов. — Подохнут они теперь...

Подохнут...

Я точно забыл, что действительно птенцы могут «подохнуть», как сказал Мишка.

Я сидел, задумчиво помешивая ложечкой в стакане. Мишка сосал сахар, причмокивая и обжигаясь чаем. Семен Федорыч рассматривал громадные крылья, только что подвешенные на стенку.

— Эге! да вы подсокола цапнули! ей-богу, подсокола... Я уж говорил — застреляете... Только первую убить, а там... Прошел я сегодня по бору... ни единого-то ястреба не видать. Перебрались куда, что ли.

Он взглянул на стену и замолчал.

— Вот куда перебрались! — сказал Мишка. — Теперь драть некому...

V

Ночью я сплю плохо последнее время. Какое-то томление овладевает мной, не то тоска, не то какая-то не-

ясная дума. Просыпаюсь я рано, и первое, что вижу,— это королек-сирота, еще дремлющий на моем чемодане. И мне становится как-то покойно, мирно. И я говорю себе: скоро мы поедem домой, в свою забытую комнатку на третьем этаже. Но стоит выйти на крылечко, как десятки крыльев напоминают мне о последних днях... Нет, их надо убрать.

Я зову хозяйку и прошу снять крылья.

— Да куда их, батюшка? Кому такого добра надо...

— Ну, спрячьте куда-нибудь, унесите...

Мне стыдно было сказать: бросьте.

Она покачивает головой, точно раздумывает, куда бы их унести.

Вечером я пил чай, чувствуя себя спокойнее: крылья и старый ястреб были сняты.

Но я все еще продолжаю уныло бродить по бору и уже без прежнего азарта. И Мишка уже не так настойчиво советует мне посторожить на полянке, пока он будет рыскать по опушкам. По привычке я еще таскаю за плечами ружье.

Сегодня я случайно наткнулся на молодого ястреба. Он сидел шагах в двадцати и, глупый, с любопытством вглядывался в меня, тараща круглые глаза и постукивая желтым клювом. Машинально я поднял ружье, вспомнил... И опустил.

— Пте-нец... — протянул Мишка, хлопнул в ладоши и вспугнул птицу.

— Да, птенец... — сказал я.

Уже зашло солнце, сгущались тени в бору, сливались вершины. Смолой тянуло из бора, теплом нагретого за день воздуха, — точно старый бор спешил выдохнуть из себя тяжкий жар и втянуть с лугов медовые запахи скошенных трав. От задремавшего озера, из камышей, доносился до нас печальный вопрос камышевки, а в глуши

что-то поскрипывало в полутьме, должно быть, усыхающая сосна. Мирные думы осаживались в душе... И вдруг, недалеко от нас, что-то отчаянно пискнуло и умолкло.

— Он! — вскрикнул Мишка.

Его лицо перекосилось. Он весь насторожился.

Снова пронзительный писк.

— Дерет!.. ей-богу, дерет!

И Мишка юркнул в кусты жимолости.

Да, без сомнения, это был крик захваченного дятла. Я хорошо изучил эти ночные крики в бору...

— Задрал! задрал! — услышал я голос Мишки. — Здесь, здесь!

Он, должно быть, по слуху добрался до места и теперь призывал меня.

— Летит! на тебя летит!.. держи! — кричал отчаянно Мишка, точно драли его.

Я взвожу курки, поднимаю ружье, жду, охваченный знакомой дрожью азарта...

В просвете бора я вижу темный, быстрый зигзаг, еще зигзаг, вот уже и над головой...

...Трррах... ха-ха-ха-а-а... — покатилося в бору. Что-то черное кривыми взмахами поплыло к земле, зацепило за сук и упало...

Ястребок!.. Совсем еще молодой, с яркой желтой каемкой у клюва. Сраженный маленький хищник лежал беспомощно... Нет... он готовился дорого продать свою, нужную ему жизнь: он шипел, пощелкивая желтым клювом и широко раскрывая рот, трепетал крылом и даже поднимал крючковатую лапку.

— Птенец... — глухим шепотом сказал Мишка.

— Да... птенец...

На меня глядели вздрагивающие глаза, черные, напуганные, строгие... В них видел я, — а, может быть,

мне показалось так, — я видел в них ужас и... ненависть, и... упрек...

Мы стояли над ним, а он, не переставая шипеть, при каждом нашем движении с угрозой поднимал лапку.

Стемнело совсем. Уснула камышевка. В монастыре ударило десять. Я мрачно смотрел на подбитого ястребка. Что с ним делать? Бросить так, раненого, ночью? Нет, я не мог. Я нагнулся, получил сильный удар клювом в руку и схватил ястребка за спину.

— Неси ружье, Мишутка... Идем!

VI

...Пи-пи-пи!..

Это пищит мой одинокий королек, надоедливо напоминает о себе. Напрасно напоминает. Все эти дни я точно забыл о нем; писк и прыганье на окно меня не трогают. Я уже не сажаю его на плечо, не пускаю засыпать в рукав, и еще сегодня утром, когда он доверчиво вспорхнул ко мне на плечо, я толчком сбросил его.

Я поглощен другим: из головы не выходит моя жертва, подбитый мною ястребок. Вот уже третий день он сидит у меня на вышке, в маленькой комнатке, под крышей. Я не знаю, что мне с ним делать. Ранен он неопасно. У него дробью разбито крыло, он может поправиться, и я тогда вынесу его в бор.

Но странно, — ястребок плох, очень плох, и ему, видимо, с каждым днем становится хуже. Если бы он относился ко мне доверчиво, принимал пищу, позволил себя осмотреть, — все было бы хорошо. Но он дикий какой-то, странный. Видимо, он твердо решил, что я его враг, и не желает понять, как я хочу спасти его, вернуть ему здоровье и свободу, искупить свой жестокий порыв, в котором я теперь раскаиваюсь.

С трудом удастся мне осмотреть рану маленького хищ-

ника. Он клюет меня, вонзает в мои пальцы свои тонкие крепкие когти, мои руки в царапинах и синяках, но я тверд. Я не боюсь боли. Этот молодой хищник платит мне за них, которых уже теперь нет.

Я промыл разбитое крыло, выбрал дробинки... Я принес пленнику сырого мяса, сую кусочки в желтый рот, но ястребок пятится, не сводя с меня черных подрагивающих глаз, шипит и старается забиться в угол. Вот уже четвертый день он не хочет брать пищи и заметно слабеет, но шипит и царапается по-прежнему... Он может умереть голодной, мучительной смертью на моих глазах, день за днем растравляя мое сердце, показывая, что я, я убил его... Мне начинает почти казаться, что он сознательно это делает, зная, как мне тяжело. Но нет, во что бы то ни стало, я должен его спасти!

При помощи Мишки я силой разжимаю крепкий клюв и насильно запихиваю кусочки мяса. Ястребок закрывает рот, жует как будто, но тотчас же выбрасывает, и неотступно глядят на нас подрагивающие глаза, горящие каким-то мрачным светом.

За этим занятием застает как-то меня Семен Федорыч.

— Ну, как? привыкает?

— Нет, шипит только и царапается. Попробуйте, заставьте его проглотить...

Дьячок берет кусочек мяса и подходит. Ястребок приседает, вытягивает шею, встряхивает крылом, шипит и старается зацепить лапкой.

— Сурьезный... Ишь-ишь... Ах ты, бестия..

Он пробует разжать ястребку клюв, но сейчас же отскакивает, тряся рукой.

— Ах ты, почтеннейший!..

— Почтеннейший! Да, это удачное выражение. Еще бы! Ястребок сидит, весь распушившись, разинув рот, выпучив глаза и щелкая клювом. Какая-то серьезная

важность и строгость в этой взъерошенной фигурке... Да, именно, — почтеннейший.

— Поштеннейший! — повторил Мишка. — Эвона, какой поштеннейший...

— Ну, ты, почтеннейший! жри!

— Давно не ест?

— Четвертый день.

— Ну, кончится. А жаль, — совсем молоденький.

Жаль! Если бы Семен Федорыч мог знать, что было у меня на душе!

Целые дни я почти не спускаюсь с вышки. Я кладу мясо, прячусь за дверь и смотрю. Ястребок складывает крылья, приседает и начинает засыпать. Но стоит мне войти, как опять поднимаются крылья и вздрагивают глаза.

Он слабеет, — это ясно видно, — хиреет с каждым днем. Летательные мускулы его подбитого крыла вспухли и даже гноятся, несмотря на принятые меры. И он уже не так раздраженно клюется. Нет, мы не можем быть друзьями. Он не привыкнет ко мне, это дикое существо не может простить мне муки.

Мишка ежедневно спрашивает.

— А поштеннейший как, а? жив поштеннейший?

Я уже не могу ходить в бор, не могу. Мне стоит только услышать вдали это вольное, гордое раньше, теперь такое тревожное и злое в своей беспомощности «пы-ырррль, пы-ы-р-р-р-л-л-ь»... как я уже вижу маленькую пустую комнатку наверху и маленького ястребка в уголке. Он, при моем появлении, начинает пятиться дальше и дальше в угол, дрожать глазами и шевелить крылом. Он боится меня до ужаса, не сводит глаз, и в них я вижу... я вижу в них десятки жертв.

— Барин, а барин... слышь! — сказал мне раз Мишка, когда мы оба возились с ястребком. — Отнесем-ка его в бор... Может, они сами его оправят?

Верно! Мишка, положительно, умный парень. Самое лучшее — в бор. Может быть, они и выходят его, или он и сам выправится на воле. А если... Но тогда, по крайней мере, не на моих глазах. Я намучился и так достаточно.

Решено. Сегодня я уношу его в бор.

VII

Бледнеют и гаснут яркие полосы на западе. Темно в бору. Ползут смолистые запахи, крадутся тени, стихают редкие голоса. Мертво как будто, но жизнь незаметно идет, невидимая глазу, неслышная жизнь.

Жучки-короеды без устали ведут свои красивые ходы, высверливая старые стволы, и даже тонкое ухо едва ловит скучный, сверлящий звук — тик-так, тик-так. Ночные пауки ткут по кустам крепкие сети на мошкарку к утру, точно заботливые рыболовы ставят с вечера верши и вентера. Быстроногие жужелицы бесшумно выхватывают и грызут неповоротливых слизняков. Летучие мыши с мягким свистом мелькают в бледном просвете вершин, а в густых кустах папоротника теплятся зеленые огоньки светлячков.

Я и Мишка выходим на хорошо знакомую полянку, заросшую папоротником и заячьей капусткой, старинную вырубку с остатками пней и ям. Здесь еще недавно любили присаживаться на вершинах ястреба. Тут же побитая грозой сосна, на которой яркими днями возятся пестрые дятлы.

Над нашими головами, в вершинах, завозилось что-то, упала сухая ветка, ясно отдалось хлопанье больших крыльев.

— Он... — шептал Мишка. — Полетел... Боятся.

Мы оба проводили глазами ленивый полет. Да, они

боятся. Они даже ночью спят теперь одним глазом.

Я вынимаю из корзинки ястребка, все еще пытающегося ударить меня ослабевшим клювом. Я сажаю ястребка на пенек, Мишка кладет к его ногам кусочки сырого мяса.

— А не заклюют его? — шепотом спрашивает он.

Я понимаю, что и в Мишутке произошел переворот; еще недавно страстный гонитель и мститель, он, кажется, теперь готов остаться в лесу и сторожить ястребка.

— Заклюют его, — не дождавшись ответа, говорит он. — Сова нападет...

Но что же делать! Какая тишина и темь! Ястребок сидит на пеньке, но его не видно и не слышно, точно он умер, точно мы бросили его в глухой колодец, в эту таинственную темноту глухого бора. Но он жив, он думает, он страдает молча, он боится нас, — я это чувствую. И надо бросить его, уйти... Но что же делать!

— Ну, Мишук, идем...

Я иду, не оглядываясь, спешу поскорее выбраться из бора. Мне душно в жаре застоявшегося смолистого воздуха. Скорей в луга, под звезды. Я хочу видеть вечное, чистое небо, где нет борьбы, слез, крови.

Я иду, спотыкаясь на кусты папоротника, корни и пни.

— Ми-ша-а-а! — кричу я, не слыша шагов за собой.

Он отстал. Я жду. Слышу, наконец, догоняющие шаги. Он идет молча. Вот и просвет. Волна свежести ударяет в лицо. Простор... Луга, бесконечные, вольные луга тянутся к Оке.

— Пропадет... — говорит Мишка и печально вздыхает. — Ма-ахонький...

Я плохо спал ночь: тревожные, отрывочные сны грезились мне. То мне казалось, что ястребок, совсем здоровый, с жадностью ест сырое мясо, то представлялось, что он в лесу, сидит на сосне и смотрит вниз, свернув голову набок.

VIII

Я проснулся рано, — едва белело окно, но уже пропали звезды и в густых волнах тумана шел рассвет.

Эти волны плыли с лугов, заливали всю слободу, прорывались между стволами в бор. Все еще спало крепким сном; только сипло кричал петух в сарае да на кусту, под окном, чуть пикала еще полусонная птаха.

Я взглянул на бор. Он спал еще под своей темной шапкой. Я открыл окно. Холодок утра потянул на меня ароматом скошенных трав. Я смотрел, дышал и слушал, — следил за подымавшимся утром. Как хорошо! и как редко я видел это утро... что-то розовое, неуловимое бродит в небе; должно быть, солнце подкатывается к горизонту и сейчас покажет край свой.

Да, оно идет, идет... Уже бойчей и громче перекликаются птицы, и чуткий грач разбудил стаи своим важным — кра-а! Какой шум! Тысячи крыльев гремят в воздухе: спешат в луга веселые стаи.

Ярче розовые лучи, редее туман... Солнце! Выплыло оно из-за Оки и уже покачивается пунцовым шаром. Я вспомнил о нем, и мне стало тоскливо, и яркие краски утра поблекли.

Он там... Он один не спал, когда все кругом спало. Брошенный, он во тьме томительно ждал нового тяжелого дня. А может быть, его взяли?.. Меня тянет взглянуть, что с ним. Мишутка обещал прийти к «солнцу», но теперь уже половина четвертого, а его нет: должно быть, проспал. Я не жду, беру мясо и спешу в бор. Вот и полянка с кустами папоротника, осыпанного росой. Да где же этот пень? А, вот он...

Пррр... Большая серая ворона порхнула из-за него, запрыгала боком к чаще, грузно поднялась и мягко опустилась в сторонке на молодую сосенку. Ворона? Зачем

она здесь? Очевидно, у ней есть здесь дело; очевидно, она... Теперь я понимаю, зачем она здесь. Я вижу своего ястребка. Как-то весь опустившись, он бочком сидит под пенником, стараясь забиться в норку между корнями. Я подхожу, протягиваю руки...

— Куда, куда ты, бедняк?

Он бежит от меня, машет крылом, спотыкается на корнях, — но бежит. Каким, должно быть, страшным чудовищем кажусь я ему, этому малышу. Он не понимает, как я мучаюсь за него. Но он прав, конечно, по-своему. Что же в его глазах я, как не чудовище, вырвавшее его из жизни, разбившее крыло, бросившее в лес и теперь еще не оставившее его в покое?

Он отковылял к другому пню и уткнул нос в трещину... Но что же мне делать?! Нести назад? Смотреть, как он день за днем будет умирать на моих глазах? Нет, я не могу... Как бы я был счастлив, если бы не нашел его, если бы не знал, что с ним, или нашел его труп... Я зарыл бы его и забыл. Но теперь...

Где-то в стороне невидимый ястреб уныло кричал свое трепетное, как бы зовущее «пыррль-пы-ы-р-р-р-л-л-л-ль»... Позади услышал я быстрые шаги. Это Мишутка.

— Ну, что? жив?

— Жив, брат... жив...

— Ага!.. и мясо съел!.. Съе-ел!..

«Съел ли?» — подумалось мне. А ворона? Если она съела мясо, она будет теперь сторожить. Она, по всей вероятности, поняла все и будет ждать. Я задумался. Продолжать опыт, оставить ястребка еще на один день в бору или взять? Попробую оставить.

Мы кладем на пенек мясо, сажаем ястребка, отходим подальше, прячемся за сосны и ждем.

Ворона, терпеливо чистившая нос на сосне, порхнула

к пеньку, выхватила из-под носа нашего ястребка мясо и снова перебралась на сосенку.

— Ах, черт! — вырвалось у Мишки. — Вот ведьма! Очевидно, сколько ни клади, — все напрасно.

Вдруг над самой нашей головой затрепетали широкие крылья, и громадный ястреб плавно закружился над поляной, издавая призывный крик.

Я взглянул на ястребка. Его здоровое крыло забилося. Он подымал голову, точно собирался лететь.

— Мать... Мать! — взволнованно шептал Мишка, теребя меня за рукав. — Она... вот те крест... она...

Вдруг ястребок рванулся и полетел с пенька наземь.

Я был рад несказанно. Ну, теперь, очевидно, его нашли, узнали о нем и, быть может, возьмут. Во всяком случае, ворона уже не задерет его.

— Ночью-то его не видать было, а теперь признали, — говорит Мишка. — Уйдем, пра, уйдем. Они его заберут.

— Да, лучше уйти...

День тянулся долго. Вечером мы снова были на месте. Все то же, только наш ястребок, кажется, ослаб еще больше: он сидел на брюшке, нагнув голову, как будто дремал, но, услышав шаги, встрепенулся и заковылял в сторону. Мы выкопали маленькую ямку, постлали моху, посадили ястребка, положили мяса и чуть прикрыли мохом. Так ему будет безопасней и теплей ночью.

IX

Эту ночь я спал плохо. То мне казалось, что сейчас мою жертву терзает своим крепким клювом ворона, то я представлял себе, как ястребок умирает, разевая свой рот, ищет воды... Воды?.. Мы в волнении совсем забыли оставить ему воды. И я не догадался! Эти дни прошли для меня такой черной нитью, как никогда. Точно что-то карало

меня, чье-то невидимое, но существующее око. Оно лишило меня сна, покоя, радости летнего утра, ярких красок молодых дней. И я знал, что это за око, как звать его...

И я знал, что оно внутри меня и никогда не покидало меня. И нельзя уйти от него, заставить его замолчать.

Мы не дали воды!

Я вскочил, взглянул в окно. Совсем черная ночь, даже звезд не видно. Очевидно, или сильный туман, или облака затянули. Какая-то жуть овладела мной. Я чиркнул спичкой. Блеснуло и осветило мое бледное лицо в стекле окна. Но надо идти к нему и поставить воды.

Я быстро оделся, достал жестянку, взял кувшин с водой и вышел на воздух. Черная ночь. На монастырской колокольне пробило два. Слава богу,— скоро рассвет. И я пошел во тьме.

Вот канава, за ней бор. Гудят вершины. Бор что-то не спит сегодня, должно быть, в вершинах играет ветер. Какая темь. Я спотыкаюсь на кусты папоротника, царапаю руки о шиповник. Поляны нет... остается еще заблудиться. Я пробираюсь на ура.

Дорога под ногами! Эва, куда я прошел, совсем в другой конец... Поворачиваю и натыкаюсь на сплошную стену молодого сосняка. Что-то шарахается над головой,— должно быть, сова. Та поляна вправо отсюда... Иду и попадаю в какую-то яму. А, черт!.. Надо было взять фонарь. Пробую кувшин,— вода еще есть. Чиркаю спичкой. Вижу только кусты бузины и боярышника. Ну, наделал же я себе тревоги! Блуждать ночью с кувшином воды по бору! Да, ястребок положительно карал меня. Или это не ястребок? Он, конечно, ничего и не подозревает.

Измученный и уже не зная, где, в какой стороне поляна и в какой слобода, я присел на хвою, кутаясь в пальто. Жуткий шорох кругом. Падает сухая ветка, а кажется, что кто-то ступил около меня тяжелой ногой. Загудел

жук в стороне, точно кто-то ворчит грозно за соседним деревом и подбирается оттуда. Даже комар, ничтожный комар испугал меня. Он запищал около тонко-тонко, а мой расстроенный слух передал мне его пискливую нотку, точно кто-то протяжно крикнул: «а-га-а-а-а»...

Это бывает иногда, этот обман слуха. Это бывает ночью, когда сидишь один в пустой комнате или, еще лучше, в лесу и чего-нибудь ждешь, насторожившись; или в жаркий день, когда задумчиво сидишь над омутом и ловишь рыбу, а солнце палит голову и хочется спать. И вдруг стрекоза затрепещет крылышками, — и вздрогнешь от треска.

Слава богу! Светает, никак! Небо забелело, и уже забеспокоились грачи. Вот и совсем светло. Я осматриваюсь. Поляна, где мы оставили его, почти совсем рядом. Я иду, подбегаю к ямке. Ястребка нет. Я оглядываюсь — нет; я исследую все кусты лесной бузины, шиповника, калины и папоротника, — нет. Неужели его забрали они, его родичи, захватили своими крепкими лапами и унесли от меня? Какое счастье! Но я еще не могу поверить. Вот яма, оставшаяся от сгнившего пня... Он!.. Он там!..

Он забился сюда. Из-под листьев ландышей и костяники я вижу выставившуюся голову и тревожные глаза. Он также увидел меня и узнал. Нет сомнения, он узнал меня и подался под листья ландышей и костяники. Я раздвигаю их, беру его. Он худ, как скелет; я ощущаю под пальцами ребра и кость уже облупившейся грудки. Он не клюется уже, он совсем ослабел и даже не может шипеть. Какой запах! Это от его крыла, разбитого крыла. Я с содроганием разглядываю рану. Какая опухоль! Все сильнее. Крыло едва держится на какой-то жилке... Я стискиваю зубы и не знаю, что делать мне. Его уже нельзя спасти. Я сажаю его на пенек, нагибаю его клюв в воду.

Я снова навожу ружье, закрываю глаза...

.
Глухо покотился выстрел, мой последний выстрел...
Рассеялся дымок. Он неподвижно лежал на пенке и...
больше не страдал. Не страдал и я. Пусто и холодно как-то
было на сердце.

Я бережно взял его скелет, обернул листьями папоротника, положил в ямку, засыпал землей и прикрыл мохом.

Не было ни души кругом. Никто не глядел на меня. Никто не мог видеть моего лица... А сердце... Кто может видеть?

Солнце играло на полянке, сверкала роса на кустах. Стучали дятлы, посвистывали синицы, резко вскрикивали иволги. Все ликовало в ярких красках свежего, летнего утра. А я... я шел понурый, с замиравшей печалью в усталом сердце.

На опушке мне попался Мишутка.

— Ну что?! Жив? — еще издали крикнул он.

— Нет... — ответил я. — Помер он...

— Помер?

Его всегда оживленное лицо вытянулось и как-то погасло.

— По-о-мер... — вздохнул он.

— Да... — повторил я, избегая глядеть ему в глаза.

— А я-то думал, он...

Он замолчал и не высказал, что он думал. Мы идем молча. У Мишки на лицо легла строгая складка. Он не посвистывал, как всегда.

— Закопали вы его?

Я кивнул.

— Так я его и не видал...

Проходя мимо дьячка, я занес ему ружье.

— Что же? Кончили?.. Поцелкали порядком!
— Вот бы теперь вам на уток... Изловчились вы теперь. Не думаете? А коростели какие в лугах! Да вот я вам покажу... У Митрича ружье брал... утром сегодня парочку зацепил...

Он было пошел в комнату, но я удержал его.

— Не надо. Знаю... Дайте мне стакан воды...

Он пристально взглянул на меня.

— Что с вами? Побледнели вы как... От жары это...

— Да, должно быть...

Он принес воды и порекомендовал класть на голову конский щавель.

— Облегчает... Ну, а ястребок как? живет?

— Помер.

— По-о-мер... — протянул Семен Федорыч. — Ишь ты...

Он рассмеялся и похлопал меня по плечу.

— И горе же вы охотник, ей-богу...

Х

Кончилось лето. Я забыл об ястребке. Спокойствие снова ко мне вернулось. Снова солнце ярко светило мне, бор весело звенел для меня своей хвоей. Румянились вечерние зори и утра.

Королек-сирота подрос, но по природе был все таким же снежным комочком и засыпал на плече, как когда-то давно-давно.

Наступило время отъезда. Мишка чуть-чуть поплакал, провожая меня.

— Ну, прощай, Мишук... На память оставляю тебе моего королька... Береги его...

Глаза Мишки расширились. Этого он не ожидал.

— Ему здесь лучше будет. Ты присмотришь за ним,

а в городе некому будет за ним ходить... Ты любишь его, и он тебя полюбит.

Я собрал свой несложный багаж, взвалил в тарантас и простился со старушкой-хозяйкой.

— Доброго здоровья, батюшка... Доброго здоровья... Не забыли ничего?.. Да-а... А крылья-то?

— Что?

— Крылья-то... В сарайчике!.. Что убрать-то наказывали?

Крылья? Я вспомнил... Крылья! Мертвые, сухие крылья!

— Нет, нет... Не надо...

— Ну, и хорошо... Выкину я их...

Я взял из рук Мишутки моего королька, приласкал на прощанье и передал с рук на руки.

— Может, жалко? — любовно сказал Мишутка. — А то берите.

Да, мне было жалко. Но мне было также жалко лишить королька свободы. Не в комнате же проводить ему свою жизнь.

Возле монастыря я увидел дьячка. Он шел к обедне.

— Прощайте, прощайте!.. На лето опять заглядывайте!..

— Как обстоятельства... Всего хорошего...

— Счастливого пути!.. Так охотиться будем?.. — кричал он мне вслед.

Я не отозвался.

— На ястребов!!

Я как будто не слышал.



Мартовская капель

...*К* ап... кап-кап... кап... кап-кап-кап...
Засыпая, все слышу я, как шуршит по железке
за окошком, постукивает сонно, мягко — это весеннее,
обещающее — кап-кап... Это не скучный дождь, как за-

рядит, бывало, на неделю: это весенняя мартовская капель. Она вызывает солнце. Теперь уж везде капель.

Под сосенкой — кап-кап...

Под елочкой — кап-кап...

Прилетели грачи — теперь уж пойдет, пойдет. Скоро и водополье хлынет, рыбу будут ловить наметками — пескариков, налимов, — принесут целое ведро. Нынче снега большие, все говорят: возьмется дружно — поплывет все Замоскворечье! Значит, зальет и водокачку, и бани станут... будем на плотиках кататься.

В тревожно-радостном полусне я слышу это все торопящееся кап-кап... Радостное за ним стучится, что непременно будет, и оно-то мешает спать.

...Кап-кап... кап-кап-кап... кап-кап...

Уже тараторит по железке, попрыгивает-пляшет, как крупный дождь.

Я просыпаюсь под это таратанье, и первая моя мысль: взялась! Конечно, весна взялась. Протираю глаза спросонок, и меня ослепляет светом. Полог с моей кровати сняли, когда я спал, — в доме большая стирка, великопостная, — окна без занавесок, и такой день чудесный, такой веселый, словно и нет поста. Да какой уж теперь и пост, если пришла весна. Вон как капель играет... — тра-та-тата! А сегодня пойдем с Горкиным за Москва-реку, в самый «город», на грибной рынок, где — все говорят — как праздник.

Защурив глаза, я вижу, как в комнату льется солнце. Широкая золотая полоса, похожая на новенькую доску, косо влезает в комнату, и в ней суетятся золотишки. По таким полосам, от бога, спускаются с неба ангелы, — я знаю по картинкам. Если бы к нам спустился!

На крашеном полу и на лежанке лежат золотые окна, совсем косые и узкие, и черные на них крестики скосились. И до того прозрачны, что даже пузырьки-глазочки

видны, и пятнышки... и зайчики, голубой и красный! Но откуда же эти зайчики и почему так бьются? Да это совсем не зайчики, а как будто пасхальные яички, прозрачные, как дымок. Я смотрю на окно — шары! Это мои шары гуляют, вьются за форточкой, другой уже день гуляют; я их выпустил погулять на воле, чтобы жили дольше. Но они уже кончились, повисли и мотаются на ветру, на солнце, и солнце их делает живыми. И так чудесно! Это они играют на лежанке, как зайчики, — ну совсем как пасхальные яички, только очень большие и живые, чудесные. Воздушные яички, — я таких никогда не видел. Они напоминают Пасху. Будто они спустились с неба, как ангелы.

А блеска все больше, больше. Золотой искрой блестит отдушник. Угол нянина сундука, обитого новой жестью с пупырчатыми разводами, снежным огнем горит. А графин на лежанке светится разноцветными огнями. А милые обои... Прыгают журавли и лисы, уже веселые, потому что весны дождалась, — это какие подружились, даже покумались у кого-то на родинах, — самые веселые обои. И пушечка моя как золотая... и сыплются золотые капли с крыши, сыплются часто-часто, вьются, как золотые нитки. Весна, весна!..

И шум за окном особенный.

Там галдят, словно ломают что-то. Крики на лошадей и грохот... Не набивают ли погребов? Глухо доходит через стекла голос Василь Василича, будто кричит в подушку, но стекла все-таки дребезжат:

— Эй, смотри у меня, робята... к обеду чтобы!..

Слышен и голос Горкина, как комарик:

— Снежком-то, снежком... поддолбливай!

Да, набивают погребов, спешат. Лед вчера возили.

Я перебегаю, босой, к окошку, прыгаю на холодный стул, и меня обливает блеском зелено-голубого льда. Горы

его повсюду, до крыш сараев, до самого колодца, — весь двор завален. И сизые голубки на нем: им и деваться некуда! В тени он синий и снеговой, свинцовый. А в солнце — зеленый, яркий. Острые его глыбы стреляют стрелками по глазам, как искры. И все подвозят, все новые дровянки... Возчики наезжают друг на дружку, путаются оглоблями, санями, орут ужасно, ругаются:

— Черти, не напирай!.. Швыряй, не засти!..

Летят голубые глыбы, спускаются, сползают, прыгают друг на дружку, сшибаются на лету и разлетаются в хрусталь и пыль.

— Порожняки, отъезжай... чер-ти!.. — кричит Василь Василич, попрыгивая по глыбам. — Стой... который?.. Сорок семей, давай!..

Отъезжают на задний двор, вытирая лицо и шею шапкой; такая горячая работа, спешка: весна накрыла. Ишь, как спешит капель — барабанит, как ливень дробный. А Василь Василич совсем по-летнему — в розовой рубашке и жилетке, без картуза. Прыгает с карандашиком по глыбам, возки считает. Носятся над ним голуби, испуганные гамом, взлетают на сараи и опять спускаются на лед: на сараях стоят с лопатами и швыряют-швыряют снег. Носятся по льду куры, кричат не своими голосами, не знают, куда деваться. А солнышко уже высоко, над Барминихиным садом с бузиною, и так припекает через стекло, как будто лето. Я открываю форточку. Ах, весна!.. Такая теплынь и свежесть! Пахнет теплом и снегом, весенним душистым снегом. Остреньким холодочком веет с ледяных гор!.. Слышу — рекою пахнет, живой рекою!..

В одном пиджаке, без шапки, вскакивает на лед отец, ходит по острым глыбам, стараясь удержаться: машет смешно руками. Расставил ноги, выпятил грудь и смотрит зачем-то в небо. Должно быть, он рад весне. Смеется что-то, шутит с Василь Василичем и вдруг — толкает. Василь

Василич летит со льда и падает на корзину снега, которую везут из сада. На крышах все весело гогочут, играют новенькими лопатами, — летит и пушится снег, залепляет Василь Василича. Он с трудом выбирается, весь белый, отряхивается, грозитя, хватает комья и начинает швырять на крышу. Его закидывают опять. Подходит Горкин, в поддевочке и шапке, что-то грозит отцу: одеться велит, должно быть. Отец прыгает на него, они падают вместе в снег и возятся в общем смехе. Я хочу крикнуть в форточку... но сейчас загрозит отец, а смотреть в форточку приятней. Сидят воробьи на ветках, мокрые все от капель, качаются... — и хочется покачаться с ними. Почки на тополе набухли. Слышу, отец кричит:

— Ну, будет баловаться... Поживей-поживей, ребята... к обеду чтоб все погреба набить, поднос будет!

С крыши ему кричат:

— Нам не под нос, а в самый роток бы попало! Ну-ка, ребята, уважим хозяину, для весны!

...И мы хозяину ува-жим,
Ро-бо-теночкой до-ка-жем...

Подхватывают знакомое, которое я люблю: это поют, когда забивают сваи. Но отец велит замолчать:

— Ну, не время теперь, ребята... пост!

— Огурчики да капустку охочи трескать, и без песни поспеете! — поокивает Василь Василич.

Кипит работа: грохаются в лотки ледяные глыбы, скатываются корзины снега, позвякивает ледянка-щебень — на крепкую засыпку. Глубокие погреба глотают и глотают. По обталому грязному двору тянется белая дорога от салазок, ярко белеют комья.

— Гляди... там!.. — кричат где-то над головой.

Я вижу, как вскакивает на глыбы Горкин, грозясь кому-то, — и за окном темнеет, в шипящем шорохе. Серой

сплошной завесой валятся снеговые комья, и острая снеговая пыль, занесенная ветром в форточку, обдает мне лицо и шею. Сбрасывают снег с дома! Сыплется густо-густо, будто пришла зима. Я соскакиваю с окна и долго смотрю, люблюсь: совсем метель, даже не видно солнца, — такая радость!

К обеду — ни глыбы льда, лишь сыпучие вороха осколков, скользкие хрустали в снежку. Все погреба набиты. Молодцам поднесли по шкалику, и, разогревшиеся с работы, мокрые и от снега, и от пота, похрустывают они на воле крепкими, со льду, огурцами, белыми кругами редьки, залитой конопляным маслом, заедают ломтями хлеба, — словно снежком хрустят. Хоть и великий пост, но и Горкин не говорит ни слова: так уж заведено, крепче ледок скипится. Чавкают в тишине на бревнах, на солнышке, слушают, как идет капель. А она уже не идет, а льется. В самый-то раз поспели: поест снежок.

— Гор-ры какие были... а все упрятали!

Спрятались в погреба все горы. Ну, будто в сказке: Василиса Премудрая сказала.

Ржут по конюшным лошади, бьют по стойлам. Это всегда — весной. Вон уж и коновал заходит, цыган Задорный, страшный с своею сумкой, — кровь лошадям бросать. Ведет его кучер на конюшню, бегут поглядеть рабочие. Меня не пускает Горкин: не годится на кровь глядеть.

По завейному снежком двору бродят куры и голуби, выбирают просыпанный лошадьми овес. С крыш уже прямо льет, и на заднем дворе, у подтаявших штабелей сосновых, начинает копиться лужа — верный зачин весны. Ждут ее не дождутся вышедшие на волю утки: стоят и лущат носами жидкий с воды снежок, часами стоят на

лапке. А невидные ручейки сочатся. Смотрю и я: скоро на плотике кататься. Стоит и Василь Василич, смотрит и думает, как с ней быть. Говорит Горкину:

— Ругаться опять будет, а куда ее, шельму, денешь! Совсюду в ее текет, так уж устроилось. И на самом-то на ходу... передки вязнут, досок не вывезешь. Опять, лешая, набирается!..

— И не тронь ее лучше, Вася...— советует и Горкин.— Спокон веку она живет, так уж ей тут положено. Кто ее знает... может, так, ко двору прилажена!.. И глядеть привычно, и уточкам разгулка...

Я рад. Я люблю нашу лужу, как и Горкин. Бывало, сидит на бревнышках, смотрит, как утки плещутся, плавают чурбачки.

— И до нас была, господь с ней... о-ставь.

А Василь Василич все думает. Ходит и крикает, выдумать ничего не может: совсюду стек! Покрякивают ему и утки: так-так... так-так... Пахнет от них весной, весеннею теплой кислотцою. Потягивает из-под навесов дегтем: мажут там оси и колеса, готовят выезд. И от согревшихся штабелей сосновых острою кислотцою пахнет, и от сараев старых, и от лужи,— от спокойного старого двора.

— Была как — пуцай и будет так! — решает Василь Василич.— Так и скажу хозяину.

— Понятно, так и скажи: пуцай ее останется так.

Покрякивают и утки: радостным — так-так... так-так... И капельки с сараев радостно тараторят наперебой: кап-кап-кап... И во всем, что ни вижу я, что глядит на меня любовно, слышится мне: так-так. И безмятежно отстывает сердце: так-так...



Егорьев день

Под Егорьев день к нам во двор зашел парень, в лап-
тах, в белой вышитой рубахе, в синих портах, в каф-
тане внакидку и в поярковой шляпе с петушьим перыш-
ком. Оказалось, — пастухов работник, что против нас,

только что из деревни, какой-то «зубцовский», дальний, откуда приходят пастухи. Пришел от хозяина сказать, — завтра, мол, коров погонят, пустите ли коровку в стадо. Марьюшка дала ему пару яиц, а назавтра обещала молочной яичницей накормить, только за коровкой бы приглядел. Повела показать корову. Чего-то пошепталась, а потом я видел, как она понесла корове какое-то печенье. Спрашиваю, чего это ей дает, а она чего-то затаилась, секрет у ней. После Горкин мне рассказал, что она коровке «креста» давала, в благословение, в Крещение еще пекла, — печеного «креста», — так уж от старины ведется, чтобы с телком была.

Накануне Егорьева дня Горкин наказывает мне не проспать, как на травку коров погонят, — «покажет себя пастух наш». Как покажет? А вот, говорит, узнаешь. Да чего узнаю? Так и не сказал.

И вот в самый Егорьев день, на зорьке, еще до солнышка, впервые в своей жизни, радостно я улышал, как хорошо заиграл рожок. Это пастух, который живет напротив, — не деревенский простой пастух, а городской, богатый, собственный дом какой, — вышел на мостовую перед домом и заиграл. У него четверо пастухов-подручных, они и коров гоняют, а он только играет для почину, в Егорьев день. И все по улице выходят смотреть-послушать, как старик хорошо играет. В это утро играл он «в последний раз», — сам так и объявил. Это уже после он объявил, как поиграл. Спрашивали его, почему так, — вполследок. «Да так... — говорит, — будя, наигрался...» Невесело так сказал. Сказал уж после, как случилась история.

И все хвалили старого пастуха, так все и говорили: «вот какой приверженный человек... любит свое дело, хоть и богач стал и гордый... а делу уступает». Тогда я всего не понял.

В то памятное утро и я смотрел в открытое окно залы, прямо с теплой постели, в одеяльце, подрагивая от холода ка зари.

Улица была залита розоватым светом встававшего за домами солнца, поблескивали лишь верхние окошки. Вот, отворились дикие ворота пастухова двора, и старый, седой пастух-хозяин, в новой синей поддевке, в помазанных дегтем сапогах и в высокой шляпе, похожей на цилиндр, что надевают щеголи-шафера на свадьбах, вышел на середину еще пустынной улицы, поставил у ног на камушки свою шляпу, покрестился на небо за нашим домом, приложил обеими руками рожок к губам, надул толстые розовые щеки,— и я вздрогнул от первых звуков: рожок заиграл так громко, что даже в ушах задребезжало. Но это было только сначала так. А потом заиграл тоньше, разливался и замирал. Потом стал забирать все выше, жальчей, жальчей...— и вдруг заиграл веселое... и мне стало раздольно-весело, даже и холода не слышал. Замычали вдали коровы, стали подбираться помаленьку. А пастух все стоял-играл. Он играл, запрокинув голову, играл в небо за нашим домом, словно забыв про все, что было вокруг него. Когда обрывалась песня и пастух переводил дыхание, слышались голоса на улице:

— Вот это ма-стер!.. вот доказал-то себя Пахомыч!.. ма-стер... И откуда в нем духу столько!..

Мне казалось, что пастух тоже это слышит и понимает, как его слушают, и это ему приятно. Вот тут-то и случилась история.

С пастухова двора вышел вчерашний парень, который заходил к нам, в шляпе с петушьим перышком, остановился за стариком и слушал. Я на него залюбовался. Красив был старый пастух, высокий, статный. А этот был повыше, стройный и молодой, и было в нем что-то смелое, и будто он слушает старика прищурясь,— что-то

усмешливо-лихое. Так по его лицу казалось. Когда кончил играть старик, молодец поднял ему шляпу.

— А теперь, хозяин, дай поиграю я...— сказал он, неторопливо вытаскивая из пазухи небольшой рожок,— послушают твои коровки, поприучаются.

— Ну, поиграй, Ваня...— сказал старик,— послушаю твоей песни.

Проходили коровы, все гуще, гуще. Старый пастух помахал подручным, чтобы занимались своим делом, а парень подумал что-то над своей дудочкой, тряхнул головой — и начал...

Рожок его был негромкий, мягкий. Играл он жалобное, разливное,— не старикову, другую песню, такую жалостную, что щемило сердце. Приятно, сладостно было слушать,— так бы вот все и слушал. А когда доиграл рожок, доплакался до того, что дальше плакать сил не стало,— вдруг перешел на такую лихую-плясовую, пошел так дробить и перебирать, ерзать и перехватывать, что и сам певун в лапотках заплясал, и старик заиграл плечами, и Гришка, стоявший на мостовой с метелкой, пустился выделывать ногами. И пошла плясать улица и ухаты, пошло такое...— этого и сказать нельзя. Смотревшая из окошка Маша свалила на улицу горшок с геранью, так ее раззадорило,— все смеялись. А певун выплясывал лихо в лапотках, под дудку, и упала с его плеча сермяга. Тут и произошла история...

Старый пастух хлопнул по спине парня и крикнул на всем народе:

— И откуда у тебя, подлеца, такая душа-сила! Шабаш, больше играть не буду, играй один!

И разбил свой рожок об мостовую.

Так это всем понравилось!.. Старик Ратников расцеловал и парня, и старика, и пошли все гурьбой в Митриев трактир — угощать певуна водочкой и чайком.

Долго потом об этом говорили. Рассказывали, что разные господа приезжали в наше Замоскворечье на своих лошадях, в колясках даже, — послушать, как играет чудесный «зубцовец» на свирели.

После Горкин мне пересказывал песенку, какую играл старый пастух, и я запомнил ту песенку. Это веселая песенка, ее и певун играл, бойчей только. Вот она:

...Пастух выйдет на лужок,
Заиграет во рожок.
Хорошо пастух играет —
Выговаривает:
Выгоняйте вы скотинку
На зелену луговинку!
Гонят девки, гонят бабы,
Гонят малыи робята,
Гонят стары старики,
Мироеды-мужики,
Гонят старые старушки,
Мироедовы женушки,
Гонит Филя, гонит Пим,
Гонит дяденька Яфим,
Гонит бабка, гонит дед,
А у их и кошки нет,
Ни копыта, ни рога,
На двоих одна нога!..

Ну, все-то, все-то гонят... — и Марьюшка наша проводила со двора свяченой вербой нашу красавицу. И Ратниковы погнали, и Лощенов, и от рынка бредут коровы, и с Житной, и от Крымка, и от Серпуховки, и с Якиманки, — со всей замоскворецкой округи нашей. Так от старины еще повелось, когда была совсем деревенская Москва. И тогда был Егорьев день, и теперь еще... — будет и до кончины века. Горкин мне сказывал:

— Москва этот день особо празднует: святой Егорий сторожит щитом и копьем Москву нашу... потому на Москве и писан.

— Как на Москве писан?..

— А ты пятак погляди, чего в сердечке у нашего орла-то? Москва писана, на гербу: сам святой Егорий... наш, стало быть, московский. С Москвы на всю Росею пошел, вот откуда Егорьев день. Ему по всем селам-деревням празднуют. Только вот господа обижаться стали, на коровок.

— Почему обижаться на коровок?..

— Таки капризные. Бумагу подавали самому генерал-губернатору князю Долгорукову... воспретить гонять по Москве коров. В «Ведомостях» читали, скорняк читал. Как это, говорят, можно... Москва — и такое безобразие! чего про нас англичаны скажут! Коровы у них, скажут, по Кузнецкому Мосту разгуливают и плюхают. И забодать, вишь, могут. Ну, чтобы воспретил. А наш князь Долгоруков самый русский, любит старину, и написал на их бумаге: «по Кузнецкому у меня и не такая еще скотина шляется», — и не воспретил. И все хвалили, что за коровок вступился.

Скоро опять зашел к нам во двор тот молодой пастух — насчет коровки поговорить. Горкин чаем его поил в мастерской, мы и поговорили по душам. Оказалось, — сирота он, тверской, с мальчишек все в пастухах. Горкин не знал его песенку, он нам слова и наскзал. Играть не играл, не ко времени было, он только утром играл коровкам, а голосом напел, и еще приходил попеть. Ему наша Маша нравилась, потом узналось. Он и захаживал. И она прибежала слушать. С Денисом у ней наладилось, а свадьбу отложили, когда с отцом случилось, в самую Радунцу. И Горкин не знал, чего это Ваня все заходит к нам посидеть, — думал, что для духовной беседы он. А он тихий такой, как дите, только высокий и силач, — совсем как Федя-бараночник, душевный, кроткий совсем, и ему Горкин от Писания говорил, про святых мучеников.

Вот он и напел нам песенку, я ее и запомнил. Откуда она? — я и в книжках потом не видел. Маленькая она совсем, а на рожке играть — длинная:

Эх, и гнулое ты деревцо-круши-нушка-а-а...

Куды клонишься — там и сло-мишься-а-а...

Эх, и жись моя ты — горькая кручи-нушка-а-а...

Где поклонисься — там и сло-мишься-а-а...



Мартын и Кинга

Мриехали на Москва-реку, полоскать белье. Денис, который приносит нам живую рыбу на кухню, снимает меня с полка и говорит: «А щука про тебя спрашивала, ступай к ней в воду!» Раскачивает меня и хочет бро-

силь в Москва-реку, я дрыгаюсь, чтобы он думал, что я боюсь. Горкин велит тащить на плоты белье. Я гляжу, столкнет ли Денис в воду нашу Машу-красавицу. Она быстро бежит по мостику, знает Денисову повадку, прыгает на плоты. Денис ставит корзину, говорит: «Нонче полоскать весело, вода согрелась», — и сразу толкает Машу. Она взвизгивает, хватает Дениса за рубаху, и оба падают на плоты. Горкин говорит мне: «Чего глазки на глупых палишь, пойдем лучше картошечку печь на травку».

Хорошо на Москва-реке, будто дача. Далеко-далеко зеленые видно горы — Воробьевку. Там стоят наши лодки под бережком, перевозят из-под Девичьего на Воробьевку, и там недавно чуть не утоп наш Василь Василич Косой, на Троицу, на гулянье, — с пьяных, понятно, глаз, — Горкин рассказывал, сам папашенька его вытащил и на костылях по шее, по самое первое число, и при всем народе. Иначе нельзя с народом с нашим. Василь Василич после даже благодарил — проспался. Папашенька так и нырнул, в чем был, пловец хороший, а другой кто, может, и утонул бы, — очень бырко под Воробьевкой, а Косой грузный такой да пьяный, как куль с овсом, так и пошел ключиком на дно. Ну, теперь поквитался с Косым папашенька: Василь Василич его тоже от смерти спас, разбойники под Коломной на них напали.

— Ну, чего еще рассказывать, сто раз рассказывал про разбойников, — говорит Горкин, — мой ступай на реку картошку, а я огонек разведу. Ну, я помою, ты разводи.

Горит огонек, из стружек. Пахнет дымком, крепкой смолой от лодок, Москвой-рекой, черными еще огородами — недавно только вода с них спала, а то Денис на лодке по ним катался, рыбку ловил наметкой. Направо голубеет мост — Крымский мост, железный, сквозной, буд-

то из лесенок. Я знаю, что прибиты на нем большие цифры — когда въезжаешь в него, то видно: 1873 — год моего рождения. И ему семь лет, как и мне, а такой огромный, большой-большой. Я спрашиваю у Горкина: «А раньше, до него, что было?»

— Тогда мост был тут деревянный, дедушка твой строил. Тот лучше был, приятней. Как можно живое дело... хороший, сосновый был, смолили мы его, дух какой шел, солнышком разогреет. А от железа какой же дух! Ну, теперь поспокойней с этим, а то, бывало, как ледоход подходит — смотри и смотри, как бы не снесло напором... ледобои осматривали заранее. Снесет-то если? Ну, новый тогда ставим, поправляем, вот и работка нам, плотникам. Папашенька-то? Хорошо плавает. Его наш Мартын... помнишь, сказывал тебе про Мартына, как аршинчик царю нашему, батюшке Александру Николаичу, вытесал на глаз? Он и выучил плавать, мальчишкой еще папашенька был... он его с мосту и кинул в реку, на глыбь... и сам за ним. Так и обучил. Нет, не Кинга его сперва обучил, а Мартын наш, я-то знаю. Кинга это после объявился. Теперь он капитал нажил, на родину вон уезжает, папашенька говорил. Ему Куманины почет оказывают какой, на обед позвали, папашенька поехал нонче тоже: все богачи будут, говорит. Ну, какой-какой... обнаковенно какой, Кинга... англичанин. И верхом обучал ездить, какие ему деньги платили господа! А наши казаки лучше его умеют. Это все пустяки, баловство. Господа набаловали.

— Какие господа набаловали?

— Всякие. И барин Энтальцев, пьяница-то наш, тоже баловал, когда деньги водились. И Александров-то барин, у которого стоячие часы папашенька купил, от царя были, и тот баловал, покуда не промотался. Вот теперь поедет Кинга к себе домой и будет говорить ихним там — какие деньги везу, сто тыщ везу, набрал от дураков, плавать

их учил. Вот какую славу заслужил... За что! Я его помню годов тридцать, у него тогда только дыра в кармане была. Нашему Мартыну-покойнику никакой славы не было, а он лучше его умел. Вот и скажи, с чего такое ему счастье? От неправды. А вот от какой. Ну, что за охальник за Дениска! Не балуй, что ты, всамделе?... Машку-то в Москва-реку пихнул. Нет, уж больше не возьму ее на реку.

— А почему она за Дениску замуж не выходит? Он тогда будет ее все в Москва-реку, да? боится она, да?..

— Понятно, боится. Дурочка, ишь гогочет. Как горodom-то мокрая вся пойдешь? Иди сушиись у огня, глупая.

Маша ругается на Дениса, хлещет его бельем. Бежит к нам, а юбка прилипла, все ноги через нее видно, нехорошо. Горкин плюется: «Бесстыжая,— говорит,— глядеть страм!» Маша садится у огонька, захлестывает мокрую юбку на ноги. Горкин отчитывает Дениску, грозит все доложить хозяину, говорит:

— Мне, старику, и то зазорно, нехорошо глядеть. Поду-май своим мозгом,— тычет он себе в лысину,— разве можно так с девушкой, в хорошем доме служит... и ты, солдат, порядки знаешь. А тебя, дура, я приструню, тетке пожалуюсь. Я этого дела не оставлю, повадки твои давно вижу.

От Машиных ног дымится парок,— от огонька, от солнышка. Горкин велит Глашке, белошвейке, которая приехала тоже с нами, бежать домой, принести от Марьюшки-кухарки платишко для мокрой дуры, только не рассказывать, господь с ней, больше она не будет. И Маша просит: «Голубушка, принеси, с голубенькими цветочками какое, в гладильной у меня висит... оступилась, скажи». Денис приносит из домика-хибарки, у которого стоят, выше крыши, красно-белые весла, новую рогожу и покрывает Машу.

— Вот тебе шуба бархатная, покуда рогожи не ку-

пил.— И заливается, глупый, хохотом.— Будешь тогда корова в рогоже, всех мне дороже!

Горкин велит ему идти на плоты, заниматься делом, покуда не прогнали вовсе. Спрашиваю: «Нет, ты скажи, от какой неправды?»

— А-а... Кинге-то такие деньги? Известно, от неправды. На моих глазах было. Давно было, тогда Кинга молодой был, только приехал в конторщики на заводе, к англичанам. И надумал плавать — выламываться. Александров-барин ему и помогал. А как дураков нашел — и с завода рассчитался, сам по себе стал. Ну, вот, раз и навернись к нам, на Крымский мост, в эту пору вот, годов тридцать тому, папашенька еще мальчишкой был, в Мещанское училище ходил. Чинили мы мост, после половодья. И дедушка твой был с нами, Иван Иванович, покойник, царство небесное. Перестилаем мы мост, работаем. А тут Кинга и навернись... давай нырять, показывать себя ребятам нашим. Стал форсить, а с ним Александров-барин, горячит его, ругаться учит, честное тебе слово. На смех всё. Самыми нехорошими словами. А Кинга-то не понимает, англичан он... и ругается... думает, может, хорошие слова говорит... Я тебе этого не скажу, какие он слова кричал... ну, зазорные слова... Ребята гогочут, задорят его, понятно, тоже ругаться начали, кроют англичана. Дедушка воспретил уж, не любил зазорного слова. А барин все задорит, покатывается, выпимши, и бутылка с ними. А Кинга весь полосатый, как матрос, для купания приспособлено у него. И кричит: «Дураки мужики!.. вы, кричит, такие-едакие... вы собачье!» — вот тебе слово, хорошо помню: «Выучу вас плавать... собачье!» Дедушка рассерчал, кричит ему: «Ты у меня не ругайся, а то ребята мои тебе законопатят глотку! а ты, барин, не подучай англичана лаяться, они и так, собаки, без подучения!» Не любил их. «Они, го-

ворит, нашу землю отнять хотят», — знал про них. Хотел наш плотник в Москва-реку прыгнуть, успокоить их, — дедушка воспретил, скандалов не любил. «Собака лает — ветер носит», — сказал. Кинга кричит свое: «Все русские дураки!» — Александров-барин научил его, гоготал все. Тут Мартын встал, силач был, страшно смотреть. «Утоплю обоих сейчас, покупаю!» Я его схватил, несдержанный он, а меня слушался... сказывал я те про него, — на меня полагался, доверялся. А они кричат: «Четвертной даем, вызывает Кинга любого, наперегонки с ним до Воробьевки!» Работаем, нельзя, при деле, хозяин здесь. А они свое: «А-а, испугались...», ругательное слово, обидное, значит — обмарались, вежливо сказать. Все Александров-барин, а тот лопочет за ним, глупый, думает — хорошие слова, ласковые, кричит: «Не можете против англичана выстоять, он вам наладет!» Тут дедушка топнул в настил, горячий... «Братцы, кричит, неуж мы ему не утрем сопли?! Красную от себя даю, кто возьмется?..» Робят семеро было нас; стариков четверо, со мной да с Мартыном считать, нам сорок уж годов было, с малым... один хромым был, нога поедена до кости, костоед был, да двое парнишек, годков до двенадцати. А Кинга в самом соку, грудица какая, складный весь, рыжий, на щеках бу-рдушки небольшие, рыженькие, как у кондитера нашего, у Фирсанова, поменьше только, состригал он, морда вся в веснушках... прямо в цирке показывать себя мог. А до Воробьевки версты три, да супротив воды, а напор сильный. Думаю — не выдержать мне, сухощав я. А загорелось сердце, не из корысти, а обидно стало. А Мартын молчит, топориком тешет себе. Молчим. Ну, дедушка видит — отзыва нет, — тоже замолчал. А они донимают: «Не можете, он в Питере всех матросов перестегнул, у него три медали с разных земель, приз золотой, ку-да вам, крупожорам!» А Кинга выкручивается!

То стойком плывет, то головой вниз, то колесом пойдет, на манер парохода... что говорить, форменно умел плавать, по-ученому. И голенастый, как Мартын наш, мо-ложе только. Махнули мы на них: бог с ними, не наше дело, он по воде хорош, а мы топориком хороши. А Мартын свое думал. Гляжу, защемил топорик... «Берусь, коли так. Смолоду хорошо умел... ну-ка тряхну!» Я его за рукав: «Да что ты, старик... сбесился? страмиться-то?» А он водочкой зашибал, сказывал я тебе, и сердцем жалился. «Пусти, померюсь!» Даже задрожал, лик побелел. «Не утерплю, пусти!» Стянул через голову рубаху, порты спустил — бултых с мосту, на самую глыбь в напор, — так все и ахнули. Выкинулся, покрестился... «Ставься, кричит, такой-сякой... покажу тебе крупожора!» Дедушка твой картуз обзешь. «Ставлю, кричит, за Мартына четвертной! валяй!»

Маша даже взвизгнула под рогожкой, очень нам интересно стало. И Денис подошел, послушал.

— А вот и не скажу... — засмеялся Горкин.

Стали мы упрашивать, а он уперся: не скажу и не скажу, за ваше безобразие. Ну, Маша упросила: «Кресенькой, дорогой, скажи-и... не буду больше», — крестил он ее, сирота она была.

— Ну, ладно, глупая, бесстыжая, прикройся, а то застудишься.

Денис подбросил в огонь щепы, даже смолы подкинул.

— Ну, струмент побросали, побежали мы на берег. Дедушка крикнул нашего портомойщика, лодки чтобы давал, две лодки большие свидетели чтобы плыли. Александров-барин с двумя ребятами посели, а остальные берегом побежали, и бутошник с нами побежал, службу бросил. А Кинга ощерил зубы, во какие костяшки, с гармоньи лады будто, кричит: «Чего старика послали, помоложе нет?» Он по-своему кричал, а барин нам говорил. Ну,

дедушка им: «На тебя и старика нашего хватит!» А Мартын большой был силы: свайную бабу, бывало, возьмет за проушину средним пальцем и отшвырнет, а в ней к тридцати пудам. С Волги мы с ним, к водяному делу привычные. Стал Мартын вызывать Кингу на стрелу, на самую бырь. Велел дедушка лодкам по стреле держать, ход указывать, без обману чтобы: всуерьез дело, четвертной закладу, да и обида от Кинги нам. Дедушка в ладоши хлопнул — пошли, голова в голову, саженками. С маху Кинга его обплыл, по сех пор вот выкидываться пошел, по самый пуп, на пружине чисто его вышибает, скоком... глядим — эх, уж он хлещет где! И то стояком, то на спинку вывернется, то боком — лик на нас завернет, защерится — смеется. А Мартын все саженками вымеряет, не торопясь, с прохладцей, чи-сто, отчетливо, будто сажнем накидывает. Мещанский сад проплыли, к Первой градской больнице стали подплывать, — просветец маленько поубавился, стал набирать Мартын. На веслах гоним, насилиу поспеваем. Мартына задорим все. Иван Иванович ему с красной своей еще пятишну накинуд: «Только не удавай зубастому!» А Мартын нам кричит: «Вот, ребята... под Нескушным к бережку возьмет стрелень, ключи там, водичка похолодней... способней будет! А верно, к Нескушному и с-под берега, и со дна ключи бьют... народу сколько там потонуло, судорога там схватывает, опасное там место. Дедушка кричит, знал тоже. «Не отставай, робята, место тут пойдет опасное, в случае багор готовьте». Как же, багры при нас. А что багры! Бырь, схватила судорога, он камнем ко дну, его нижним напором снесет — и не ущупаешь. Я и сапоги скинул, готовлюсь. К Нескушному, глядим, Мартын наш совсем поравнялся с Кингой, чешет как на парах, колесами набирает, головой вниз, волну режет, дело сурьезное. Кинга уж и оглядываться не стал, не выкомаривает уж то-се, на саженки тоже передался,

плывет чисто, залюбованье. Дедушка, горчий, покойник, был, даже побелел, губы дрожат, на лодке не усидит: «Мартынушка, голубчик... поддержи честь-славу... пятерку еще набавлю!» — двадцать уж целковых наобещал. А по берегу робята гонят, Мартына подганивают. И огородники бегут, и девки-бабы, и бутושник наш от мосту, и про службу свою забыл, разобрало-то. Мартын наш — вот-вот настигает, за ногу уж хватает Кингу, кричит: «Стой, рыжий пес... иде у те пятки, дай — поглажу!» А плыть еще больше версты, самая бырь пошла, к ключам подплываем. Нескушный вот. Грачи шумят, гнезда у них на березах по берегу, и вода поглубела, почернела. Александров-барин, как увидал — Мартын-то наш накрывает Кингу, из бутылочки водочки глотнул, Кингу показывает, кричит по-ихнему, трясет бутылкой, задорит, духу дает. А Мартын уж перекрывает, голова в голову. Тут барин — а он на руле сидел — стал на прорез воды править, от напору Кингу укрыть, легче чтобы, хитрый такой. Ну, мы закричали: «Не балуй, а то по башке веслом!» Понятно, все разгорелись, на спор идет. А Мартын уж перестегнул Кингу, справа набирает, кричит нам: «Сейчас его в лбище пяткой, сукина кота!» А Кинга уж не смеется, се-рая морда стала, захолодал. Ждем — сейчас его на ключах возьмет, пожалуй, что-то он ногой стал мотать, — высунет, помотает, опять высунет. А Мартын на спинку перевалился, ноги нам тоже показал. Никак, и у него что-то, ноги-то показал?! А это он баловаться стал, разогрелся. Опять на грудь повернулся, стал по пояс выскакивать. Выкинется по самый пуп, по грудям себя шлепнет, крикнет, для прокляжденья, — опять стремится. Тут и случилось... Выкинулся Кинга колесом, канул головой вниз, чисто живая рыба, — и нет его, и пятки не увидали. С минутку прошло — нет и нет. Потоп? Кричим — судорога свела, потоп! И Мартын услышал, пере-

пугался, бросил плыть, на спинку повернулся, передыхает. Дедушка кричит: «Засудят нас теперь, черти! спасай англичана, серию даю, спасай!» Ну, тут все рубахи долой,— в Москва-реку! И Мартын нырнул, и я тоже. Глыбко, а до дна достал, цапаюсь за песок, вода студеная, невтерпеж, ключи. Видать, как робята шарят, Кингу ищут. Выкинуло меня на волю, слышу — кричит дедушка, обкладывает Кингу, страсть осерчал: «Жу-лик, сукин кот! эх, он где чешет... нырнул, зубастый!» Тут-то мы поняли: на хитрость он пустился, напугать нас. Мы-то, дураки, проваландались сколько, его искавши, а он под водой, по дну плыл сколько — не задохнулся... вперед и вынырнул, сажен на двадцать! Мартын-то, покуда его искал, нырял. И поустал Мартын, занырялся, перепугался. Дедушка кричит: «А ну его к лешему, за него еще ответишь, потонет ежели... с квартальными не разделаешься! будя, назад, отдам ему четвертной билет!» А Мартын: «Не-эт, батюшка Иван Иванович, я его не отпущу так... я его за обман такой... достигну, я его замотаю, зубастого... Я их обоих дойму!» Упрямый Мартын был, настойный, не сговоришься с ним, как до сердца дойдет. И мы стали просить хозяина: не дадим потопнуть, не беспокойтесь. Опять погнался Мартын за ним, скоро опять накрыл. К Андреевской богадельне стали подплывать, самая-то где бырь, заворот там,— Кинга опять нырнул! Крикнули мы Мартыну: «Гони, не стой!» — а сами опять в Москва-реку, нырять-шарить, всамделе не потонул ли. Нет Кинги! Нашаривали-нашаривали — нет и нет. Выкинулись — и наперед нет, нет от него обману, потонул. Вот мы перепугались!.. А Мартын не знает, плывет, эх уж где. Кричим: «Потопнул Кинга, на-зад!» Дедушка сам не свой, за голову схватился: «Пропали мы! Человек из баловства потопнул, да еще англичан, не свой, власти за него ответят!» А buttoшник с берега кричит: «Эх он где, отнесло

куда!» А он — назади, сажень сто, на спинке отдыхает, к берегу поплыл, на огороды. А за ним и Александров-барин, с его одежей, робятam к берегу велел гнать. Тут мы все и закричали: «Ура-а!» Шабаш. Мартына воротили, на лодку приняли, дедушка его расцеловал — заплакал. Очень перепугался. Дедушка, покойник, полицию смерть не любил, боялся. Ну, влез Мартын, ничего. «Водочки бы, говорит, теперь, согреться!» Своротили к Кинге, а огородники нам уж штоф волокут, на огородах у их дом-то, знакомые нам, отец Павла Ермолаича,— кого знаешь-то, капусту нам поставляет. Выпили, соленым огурчиком закусили. А Кинга на травке сидит — и зубищами стучит. Александров-барин ему из бутылки дает, ромовой. Мы к нему — давай четвертной! А он молчит, Кинга, не понимает словно. Ну, дали отдышаться: давай заклад! Все молчит, только бу-рдышки свои гладит — щерится. И барин Александров молчит. Бутошник подошел, говорит: «Что вы, махонькие, всамделе, что ли... давайте четвертуху, я сам слыхал, как рядились». Ну, послушался бутошника барин, вынул из Кинговых брюк кошелек, а там и всего-то целковый с мелочью. Как так?! А это его Александров-барин подучал, кричать-то, а он сам еще не понимал нашего разговору... это уж он после в славу-то пришел, сто тыщ нажил,— сколько он... годов тридцать жил? — с купцов нажил наукой, теперь на родину собирается. А тогда только расходился. Ну, ничего он не понимает, не сказывал ему барин, что четвертной-то. И барин-то прогорелый. За барина мы — давай. А у него полтинник только, глазами хлопает. Робята говорят — бить их надо, поучить. Ну, дедушка плюнул, сказал господам: «Э-э, дрязгуны вы, мразь-мзя! Не потоп хоть, и на том спасибо». Дает Мартыну двадцать рублей, обещанные, и еще четвертной, за Кингу. Только Мартын не взял,— это не порядок, говорит. Значит, не вышло дело. И награду не взял. «Ни мое,

говорит, ни ваше, а выставьте нам для удовольствия ведерко водочки на артель». Весь день ребята гуляли на огородах. Нет, Кинга потом прислал... пятерку прислал. Больше уж и к мосту не показывался. Ну, а после разжился, теперь его рукой не достанешь, как поднялся. Вот он, с какой правды-то капиталы нажил. А его вон ободом Куманин угощает, и папашенька поехал. А у Мартына нашего... — помер, царство небесное, рассказываю тебе намерении, — царский золотой только и остался, в долони зажал — преставился. Вот те и правда вся. Ну, та-ам воздастся, правильной нас господь. Да что-то еще... К мосту мы воротились, а струмент наш, бросили-то мы... жулики и покрали, все сумки наши, и пилы, и топоры... все свистнули. Бутошник убежал — они и покрали. Ничего, не ругался дедушка. «Моя, говорит, вина». Справедливый был человек.

Отъезжаем с выполосканным бельем. Я смотрю на сверкающую Москва-реку, на мост. Вижу тот мост, приятный, который пахнет смолой, леском, — живой мост... и живого Мартына вижу, которого никогда не знал. И зубастого Кингу вижу, и дедушку. Спрашиваю у Горкина:

— А тот мост лучше... деревянный лучше, правда?

— По-нашему, деревянный лучше. Хороший, сосновый был, приятный. Как же можно, дерево — оно живое дело. Леском от него давало, смолой... солнышком как разогреет... а от железа какой же дух! А по тебе какой лучше, железный ай деревянный, наш?

— Наш, деревянный, лучше, приятный.



На Москва-реке

На дачу мы не поедem, на Воробьевку, — мамашеньке нездоровится. Горкин мне пошептал, на приставанья с дачей: «скоро, может, махонький братец, а то сестрица у те будет, вот и не нанимали дачу».

— Папашенька обещался на то лето в Воронцове дачу панять, там и ягода всякая, и грибов что... и карасики в прудах, приеду к тебе — карасиков обучу ловить. Да чего нам с тобой на дачу, у нас Москва-река под рукой. Выпадет денёк потеплей, мы с тобой и закатимся погулять, белье вот повезут полоскать. Харчиков захватим, на травке посидим-закусим, цветочков-желтиков собираем, свербички пожуюем... и рыбки живой прихватим у Дениса, у него всегда в садке держится про запас.

И вот, выдался денек жаркий-жаркий, ни облачка на небе. Вот бы на Москва-реку-то! А сестрица Соня, как на грех, басню задала выучить. Я у ней большую коробку с бисером рассыпал. Заставила меня до единой-то бисеринки все пособрать да ещё «Волка и Кота» выучить, большущую! пустяки, я ее за час выучил отлично. Софочка даже не поверила — «врешь, врешь!» — я ей и ответил, без запинки... а она — «врешь, врешь! ты ее раньше, должно быть, знал!» — и опять за свое — «изволь все, до бисеринки!». Хотел половой щеткой, сразу, а она... учительница какая! — «Нет, с пылью мне не нужно, а ты мне все по бисеринке соберешь, учись терпению!..» И вдруг...

— Собирайся, милоч, на дачу с тобой едем! — кричит под окном детской Горкин и велит Антипушке запрягать Смолу, — Кривая наша чего-то захромала, ноги у ней заплыли, от старости, пожалуй.

Я знаю, что это не «на дачу», а на Москва-реку, полоскать белье. Бисер еще не собран, но Горкин уже отпросил меня. Сонечка говорит — «ну, уж беги, лентяюшка, бей баклуши». Лето у всех, а меня мучают, все каким-то экзаменом стращают, а до него еще года два, за два-то года все и помереть успеют, Горкин говорит.

Под навесом запрягают старика Смолу. Жалко старика, из уважения только держим. Ноги у него в наплывах,

но до Москва-реки нас дотащит. Все-таки животное существо, жалко татарину под нож отдать, и все-таки заслуженный, сколько всякого матерьяльцу перевозил на стройки, и в Писании сказано — скота миловать. А на Москва-реке теперь живая дача, воздух привольный, легкий, ни грохоту, ни пыли, гуляй-лежи на травке, и огонек можно разложить, бутылки не загорятся.

Горкин — в майской поддевочке, кричит молодцам выносить белье. Я бегу к Марьюшке. Она говорит — «будя с тебя, Панкратыч хлеба краюху взял, и луку зеленого, и кваску... какие еще тебе разносолы, Петровки нонче!» — и дает пирожка с морковью, из печи только. Едут с нами горничная Маша, крестница Горкина, и белошвейка Глаша, со двора, такие-то болтушки, женихи только в голове, — с ними нам не компания, пусть их свое стрекочут. Сидим с Горкиным впереди, правим, — со Смолой умеючи тоже надо. Можно и без пальтишки, теплень, и Москва-река теперь согрелась, июнь-месяц. По улице сапожники-мальчишки в окошки глядят, завидуют. Невеселая жизнь сапожницкая, — плотничья наша куда лучше! Как можно... — плотник и купальни ставит, и дачи строит, при живом дереве всегда, на воле, и сравнения никакого нет. А инструмент взять: пила, топорик, струбцинка... и рубанки тебе, и фуганки, и шерщель... не сравнять никак. Сапожник на «липке» весь век живет, а плотник — вольная птица: нонче он тут, а завтра под Коломну ушел... и со всяким народом сходишься, — как можно! А то старинные хоромы ломать в именьях... чего только не увидишь, не услышишь!..

Ехать недалеко. Сворачиваем налево вниз, на Крымск, мимо наших бань, по Крымскому Валу, а вон уж и мост синее, сквозной, железный, а тут и портомойни. Слева, за глухим забором, огромный Мещанский Сад: тянет прохладой, травкой, березой, ветлами... воздух какой-то лег-

кий, птички поют, выводят свои коленца: зяблики, щеголки, чижи... — фити-фити-фью-у... чулки-чулки-паголенки! Кукушка вот только не кукует. По зорькам и соловьи поют, а кукушка статья особая. Годов тому двадцать и кукушки тут куковали, а теперь беспокойно, к Воробьевке уж стали подаваться.

— Тут кукушке не удержаться, — говорит Горкин, — нелюдимая она птица, кара-ктерная. У каждой птицы свое обычье. Малиновка вот, — самая наша, плотницкая, стук любит и пилу-рубанок... тонкую стружку в гнездо таскает. И скворец, вовсе дворовый. Дрозд? Какой дроздок... черный, березовик, не любит шуму. Его слушать — ступай к Нескушному, березы любит.

Чего только не знает Горкин! Человек старинный, заповедный.

Едем высоко, по валу. По обе стороны, внизу, зеленые огороды, конца не видно, направо — наша водокачка, воду дает с Москва-реки. Ночью тут жу-уть, глухой-то глухой пустырь.

— Застраивается помаленьку, теперь не особо страшно. А вот кукушки когда водились, тут к ночи и не ходи!

— А что... разде-нут?..

— Это что — разденут... а то душегубы под мостом водились, чего только тут не было! Вон, будка у моста, Васильев-бутошник там живет. Он человек законный, а вот, годов двадцать тому, Зубарев тут жил-сторожил. Вот и приехали. Погоди ты, про Зубарева... распорядиться надо.

Смола рад: травку увидал, скатывает весело под горку. Портомойщик Денис, ловкий солдат, сбрасывает корзины, стаскивает и Машу с Глашей, а они, непутевые, визжат, — известно, городские, набалованные. Ну, они своим делом займутся, а мы своим. Река — раздолье, вольной водицей пахнет, и рыбкой пахнет, и смолой от лодок, и белым песочком, москворецким. Налево — веселая даль, зеле-

ная,— Нескучный, Воробьевка. Москва-река вся горит на солнце, колко глазам от ряби, защуришься...— и нюхашь, и дышишь, всеми-то струйками; и желтиками, и травкой, и свербыкой со щавельком, и мокрыми плотами-смолкой, и бельецом, и согрешшимся бережком-песочком, и лодками...— всем раздольем. До того хорошо,— не знаешь, что и делать. С Москвой-рекой поздороваться! Сидим на корточках с Горкиным, мочим голову.

— Кормилица наша, Москва-река...— говорит Горкин ласково, зачерпывая пригоршней,— всю-то исплавали с папашенькой. И под Звенигородом, и под Можайском... самая сторона лесная, медведи попадают. И до Коломны спускались. И плоты с барками гоняли — сводили рощи, и сколько разов тонули... всего видано. Подрастешь вот — погоним с тобой плоты...

Дышит будто Москва-река, качаются наши лодочки — Стрела, Ласточка, Юла, Рыбка...— поплескивает об них, бабы белье полощут. Светится под водой, будто серебрецо,— раковинка-речнушка. Говорят, живая к берегу не подходит, а как отживет — обязательно ее выплеснет. Живет на самой на глыби где-то.

— Про это хорошо Денис знает. Ну-ка, Денис, скажи.

— Я мырять хорошо умею,— говорит Денис, присаживаясь с нами; смолой от него пахнет и водочкой, а лицо у него коричневое, как кожа, и все-таки он такой красивый, быстрые у него глаза, мне нравится.— В самую глыбь мырjal. Речнушек энтих... и все-то дышут! Так вот — а-а-а-а... крышечки поднимают. И раки по ним ходят, усаые... будто мужья у них. И рыбка, понятно, всякая. А я утопленницу искал... портнишечка с Бабьего Городка купалась, там вон... насупротив Хамовников, вон пожарная каланча где... глы-бко тама, дна не достать. Мырнул...— и вижу... зеленым-зеленый свет! И лежит, стало-ть, на зеленом на песочке белое тело... ну, белым-то белое

разбелое... как живая, вся в своем образе природном, спит будто. А вокруг ее все речнушки эти, ды-шут... крышечки поднимают. Ну, до чего ж хорошо! Будто рады, песни ей будто свои поют, крылышками махают. Обрадовался я ей как родной сестрице, под плечико ее прихватил, вымахнул... ну, вовсе другая уж, на живом свету, синяя-рассиняя, утопленное тело. Там — все другое, свое. Я реку знаю, там у н и х свои разговоры. Верно, выплескивает речнушку, как отживет... как мы все равно своих хороним. А о н и выплескивают.

Серебрится Москва-река, молчит. Что у ней там, на глыби? И что — за кудрявыми Воробьевыми Горами? Посхать бы с Горкиным и Денисом на Стреле, далеко-далеко, в лесную сторону, на самый-то конец Москва-реки! Все бы узнали, все разговоры и х н и е, и чего никто не знает.

— А еще чего хорошенького скажи.

— Я все на реке, много знаю. Как человеку утонуть, дня за три еще раки наваливаются. Намедни у нас писарь с первоградской больницы утоп, так за три дня рака навалилось... на огонек, ночью напоззли... весь песок черным-черный! Я сот пять насбирал, на пять целкачей в трактир продал, к пиву их подают. Вода свое знает. А речнушки эти... у них своя примета. К холодам — и не попить, куда денутся! Опускаюсь — где мои речнушки? Ни разъединой. А вода непогоду чувствует... мутнеть за неделю еще начнет, и рыба — шабаш, брать бросает, уклейка балует только. Там у н и х свой порядок.

Рассказывает нам, и все на портомойню глядит, — за выручкой следит? У него сторожка на берегу, удочки, наметки, верши... — всякая снасть. И рыба всегда живая, на дне, в садочке живорыбном. Глаша с Машей белье полощут и все хохочут. Ноги у них белые-белые, — «чисто молошные», говорит Денис.

— На белой булочке все, балованные. А что, Михайла

Панкратыч, с конторщиком-то у Маши не вышло дело?

— А тебе какая забота? Ну, не вышло... пять сот приданого желает.

— Пя-ать со-от?! А сопляк сам. За меня бы пошла... в шелках бы ее водил, а не то что... пя-ать со-от!..

— Припас шелки-то?..

— Дело наживное это... шелки. На одном раке могу любое платье... коль задастся...

— А коли не задастся? На водочку-то у те задастся...

— Водочку мы тогда по боку... Поговорили бы, Михал Панкратыч... крестный ей. Летось намекал ей — и пить брошу... ну, рыбку ловить бросить не могу, — все-то меня корит — «шут речной, бродяга...» — это что на речке ночую... характер мой такой, не могу. А так — остепенюсь, зарок дам... — глядит на меня Денис, ковыряет в песочке палочкой. — Это она выпимши меня видала, пошумел я... А я брошу... поговорите, Михал Панкратыч.

Мне жалко Дениса: смирный он такой стал, виноватый будто. И говорю:

— Поговори, голубчик Горкин!

Горкин не отвечает, бородку потягивает только.

— Как остепенюсь, папашенька мне обещали... к Яузскому мосту взять, там больше лодочек, доходишка от гуляющих больше набежит... поговорили бы, Михал Панкратыч...

— Уж к тридцати тебе скоро, постепенней бы каку приглядел, а не верткую. Маша... хорошая наша, худого не скажу, да набалована она, с ней те трудно будет. И непоседа ты...

— Я потишей буду, Михал Панкратыч... — вздыхает Денис.

— Поговори, Горкин, — прошу его. — Они будут в

доми́ке жить, у них детки разведутся... и мы в гости будем к ним приезжать...

Денис схватывает меня, колет усами щечку.

— Пойдем, покажу тебе, кто у меня живет-то!..

Он входит со мной в Москва-реку, идет в воде по колена. У большого камня, который называется «валун-камень», он останавливается и шепчет:

— Гляди в воду, сейчас отмутится...

Белый песочек видно, и вот — длинные, черные прутья шевелятся под камнем... что такое?!

— Не желаешь вылезать... ладно.

Он нашаривает под камнем, посадив меня на плечо, и достает огромного рака, черным-то черного, не видано никогда.

— Это старшой у них, никогда его не беспокою, давно тут проживает. Такая у меня примета: уйдет мой рак — и мне нечего тут жить-ждать... не выходит мне счастья, значит. А покуда го́жу, может, и сладится мое дело.

И сажает рака под «валун-камень». Я слышу знакомую песенку, поет Маша тоненьким голоском:

На сере-бренной реке-э,
На злато-ом песо-о-чке-э...

Мы подтягиваем с Денисом:

Долго де-э-вы моло-до-ой
Я стерег сле-до-о-чки-и...

— Эх, — говорит Денис, — сле-до-чки!..

Выносит меня на портомойку, несет мимо нагнувшейся Маши, схватывает отжатое белье, шлепает жгутом Машу по спине и кричит: «сле-дочки!» И она шлепает Дениса, а он пригибается со мной и приговаривает: «а ну еще...

а ну?..» И Глаша и другие принимаются хлестать нас. Денис кричит — «ребенка-то зашибете!..» — и бежит со мной по плотам.

Горкин кричит сердито:

— Чего дурака ломаешь, да еще с дитей?!.. время не знаешь?..

А мне и не больно, а весело. Денис просит прощения и все говорит — «поговорите ей, Михал Панкратыч... мочи моей нет, душа иссохлась».

Горкин не отвечает. Денис приносит из домика гармонью и начинает играть. Я знаю это — «Не велят Маше за реченьку ходить... не велят Маше молодчика любить...». Хорошо играет, Горкину даже нравится. Маша кричит с плотов, в смехе:

— А ну, сыграй любимую-то свою — «вспомни-вспомни, мой любезный, мою прежнюю любовь!»! — и все хочет.

И Глаша хохочет, и все бабы. Денис кладет гармонью и идет собирать выручку. А мы с Горкиным закусываем хлебом с зеленым луком.

— Каки мы с тобой сваты, не наше это дело. И не хозяйственный он, солдат отлетный... и водчонкой балуется. Человек необстоятельный. Рыболовы — уж известно, непоседливы. Пирожка-то... Не очень я с морковью-то уважаю... Допрежде любил, а как угостил нас с Василь Василичем Зубарев-бутошник, у моста-то жил, с той поры я глядеть не могу, с морковью-то... с души воротит. А вот. Такое было дело, страшное. Это как разбой тут шел, душегубы под мостом водились, мост тогда деревянный был. Да долго рассказывать, домой скоро собираться надо, бельецо-то вон кончили полоскать, и дело меня ждет. Ну, что ты пристал — скажи да скажи! Ну, у Зубарева чай пили с пирогом... с морковью пирог был... А у него в подпольи мертвое тело лежало... богатого огородника, во-

робьевского, с душегубами теми убил-ограбил. А мы, не знавши-то ничего, над ним пировали... как раз в именины его, Зубарева-то... Алексея-Божья-Человека, в марте-месяце... чуть не силом затащил к себе, возили ледок у нас тут, еще морозник был. Ну, и закусывали пирожком, с морковью... с кровью, будто вышло-то так. Опосля того не ем с морковью. Ну, что ты... неотвязный какой!.. ну, было... ну, сыщик Ребров... гроза на воров был!.. — все дело раскрыл, ух ты! как раскрывал!.. Да все те рассказывать — и дни не хватит. Ну, судили... Домой вот приедем...

Смола отдохнул на травке. Денис взваливает на полок тяжелые корзины с бельем. Подсаживает Машу, шепчет ей что-то на ухо, а она отвертывается к Глаше и все-то хохочет, глупая. Жалко с Москвой-рекой прощаться, со всем раздольем, со всем, что на ней и в ней, и там, далеко, за Воробьевкой, за Можайском... Чего там не видано, не слыхано! Смола наелся травы, не хочет стронуться, да еще в горку надо. Тянет его Денис, а он ни с места: с ним тоже надо уметь. Горкин начинает его оглаживать. Денис уходит...

Я вижу, как бродит он по воде, словно чего-то ищет. Маша кричит ему:

— Нас что ж не провожаешь?..

— А вот, годи, провожу!.. — отвечает Денис с реки.

Смола сворачивает на травку и останавливается. Подходит Денис, кричит Маше, — «вот тебе жених!» — и что-то швыряет ей. Она с визгом валится на белье. Черное что-то падает на дорогу, в пыль... и я вижу большого рака, как он возится по пыли, и слышно даже, как хлопает он «шейкой». Горкин велит Денису заворотить Смолу, сердится.

— Возьми себе поиграть... — говорит мне Денис и заворачивает рака в большой лопух. — Ушел мой рак, и

мне уходить надо. Возьму расчет, Михал Панкратыч... пойду под Можайск, на барки.

Говорит он не своим голосом, будто он заболел.

— А нас с Машухой не прихватишь? — смеется Глаша. — Как же нам без тебя-то?..

Маша не говорит: сердится будто на Дениса, — за рака сердится? А мне так жалко, что рак ушел: не будет теперь Денису счастья.

Денис подпирает полок плечом, и Смола трогает. Я говорю Денису:

— Возьми рака, пусти под «валун-камень»!..

Он берет рака, смотрит на меня как-то непонятно и говорит, уже веселей:

— Пустить, а? Ну, ладно... пущу на счастье.

Только мы двое про рака знаем.

— Прощевайте... — говорит он и смотрит, как мы ползем. Маша кричит:

— Не скучай, найду тебе невесту! В подпольи у нас живет, корочку жует, хвостиком крутит, все ночки кутит... как раз по тебе!.. — и все хохочет.

— А смеяться над человеком не годится, он и то от запоя пропадает... — говорит ей Горкин, — надо тоже понимать про человека. А дражнить нечего. Погодь, принца тебе посватаем.

Маша молчит, глядит на Москва-реку, где Денис. А он все глядит, как мы уползаем в горку. Вот уж и «дача» кончилась, гремит по камням полок, едут извозчики. А Денис все стоит и смотрит.



Веселая работа

...М а нашем дворе всю неделю готовятся: парят кадки и кадочки, кипятят воду в чугунах, для заливки посола, чтобы отстоялась и остыла, режут укроп и хрен, остро пахучий эстрагончик; готовят для отборного

засола, черносмородинный и дубовый лист, для крепости и духа, — это веселая работа.

Выкатила кадушки скорнячиха; бараночник Муравлятников готовит целых четыре кадки; сапожник Сараев тоже большую кадку парит. А у нас — дым столбом, живое столпотворение. Как же можно: огурчика на целый год надо запасти, рабочего-то народу сколько! А рабочему человеку без огурчика уж никак нельзя: с огурчиком соленым и хлебца в охотку съешь, и поправиться когда нужно, опохмелиться, — первое средство для оттяжки. Кадки у нас высокие: Василь Василич на цыпочках поднимается — заглянуть; только Антон Кудрявый заглядывает прямо. Кадки дымят, как трубы: в них наливают кипяток, бросают докрасна раскаленные вязки чугунных плашек, — и поднимается страшное шипение, высокие клубы пара, как от костров. Накрывают рогожами и парят, чтобы выгнать застойный дух, плесени чтобы не было. Горкину приставляют лесенку, и он проверяет выпарку. Огурчики — дело строгое, требует чистоты.

Павел Ермолаич, огородник, пригнал огурца на семи возах: не огурец, а хряц. Пробуют всем двором: сладкие и хрустят, как сахар. Слышно, как сочно хрюпают: хрюп и щелк. Ешь, не жалко. Откусят — и запустят, выше дома. Горкин распоряжается:

— На чистые рогожи отбирай, робята!.. Бабочки, отмывай покрепше!..

Свободные от работы плотники, бабы из наших бань, кухарка Марьюшка, горничная Маша, Василь Василич, особенно веселый, — радостной работой заняты. Плотники одобряют крупные, желтяки. Такие и Горкин уважает, и Василь Василич, и старичок-лавочник Юрцов: пеняют даже Пал Ермолаичу, что желтяков нонче маловато. А я зеленые больше уважаю, с пупырьками. Нет, говорят,

как можно, настоящий огурчик, который зрелый: куда сытней, хрюпаешь — будто каша!

На розовых рогожах зеленые кучи огурца, пахнет зеленой свежестью. В долгом корыте моют. Корыто — не корыто, а долгая будто лодка с перевоза. В этом корыте будут рубить капусту. Андрюшка, искусник, выбирает крупные желтяки, разваливает стамеской «мясо», манит меня идти за ним на погребницу, где темней, ставит в пустые огурцы огарки... — и что за чудесные фонарики! желто-зеленые, в разводах, — живые, сочные. Берет из песка свекольные бураки, выдалбливает стамеской, зажигает огарочки... — и что за не виданный никогда огонь! малиново-лиловый, ж и в о й, густо-густой и... бархатный!.. вижу живым доселе. Доселе вижу, из дали, лет, кирпичные своды, в инее, черные крынки с молоком, меловые кресты, Горкиным намеленные повсюду, — в неизъяснимом свете живых огоньков, малиновых... слышу прелостный запах сырости, талого льда в твориле, крепкого хрена и укропа, огуречной, томящей свежести... — слышу и вижу быть, такую покойную, родную...

А на солнце плещутся огурцы в корыте, весело так купаются. Ловкие бабьи руки отжимают, кидают в плоские круглые совки... — и валятся бойкие игрушки зеленые гулким и дробным стуком в жерла промытых кадок. Горкин стоит на лесенке, снимает картуз и крестится.

— Соль, ребята!.. чисты ли руки-те?.. Бережно разводи в ведерке, отвешено у меня по фунтикам... не переклады!..

...Кадки наполнены, укрыты; опущены в погреба, на лед. Горкин хрустит огурчиком...

Наелись досыта огурцов, икают. Стоит во дворе огуречный дух, попахивает укропом, хреном.

А вот и другая радость: капусту рубим!

После Воздвижения принимаются парить кади под капусту. Горкин говорит — «огурчики дело важное, для скусу, а без капусты не проживешь, самая заправка наша, рабочая». Опять на дворе дымятся кадки, столбами пар. Новенькие щиты, для гнета, блестят на солнце смолистой елкой. Сечки отчищены до блеска. Народу — хоть отгояй. Пришли все плотники: какая теперь работа, Покров на носу — домой! Пришли землекопы и конопатчики, штукатуры и маляры, каменщики и кровельщики, даже Денис с Москва-реки. Горкин не любит непорядков, сердчает на Дениса — «а ты зачем? на портомойне кто за тебя остался... Никола-Угодник-батюшка?!». Денис, молодой солдат, с сережкой в ухе, — все говорят, — красавец! — всегда зубастый, за словом в карман не лезет, сегодня совсем тихий, будто даже застенчивый: в глаза не глядит, совсем овечка. Горничная Маша, крестница Горкина, смеется: «капустки Денису зажелалось... пусть пожует, малость оттянет, может!» Все смеются, а Денис и не огрызнется, — как бывало. Мне его что-то жалко, я про него все знаю, наслушался. Денис выпивает с горя, что Маша выходит за конторщика... а потому Маша выходит за конторщика, что Денис пьяница... Что-то давно выходит и все не выйдет, а в водополе — при нас это было с Горкиным — принесла Денису пирог с морковью, в украдочку сунула без него и убежала: «это за пескарей ему». Ничего не понять, чего такое. И все-то знают, для какой капусты пришел Денис.

— Я, Михал Панкратыч, буду за троих, дозвоьте... а на портомойне Василь Василич Ондрейку оставил без меня, дозволил... уж и вы дозвоьте.

Совсем — овечка. Горкин трясет бородкой: ладно, оставайся, руби капусту. И Горкину нравится Денис: зо-

лотые руки, на все гожий, только вот пьяница. А потому пьяница, что...

— Их не поймешь... как журавь с цаплей сватаются, вприглядку!

Двадцать возов капусты, весь двор завален: белозеленая гора, рубить — не перерубить. Василь Василич заправляет одним корытом, другим — я с Горкиным. Корыта из толстых досок, огромные, десять сечек с каждого боку рубят, весело слушать туканье, — как пляшут. В том корыте серую капусту рубят, а в нашем — белую. Туда отбирают кочни позеленей, сдают зеленые листья с нашей, а в наше корыто кидают беленькую, «молочную». Называют — «хозяйское корыто». Я шепчу Горкину — «а им почему зеленую?». Он ухмыляется на меня:

— Зна-ю, чего думаешь... Обиды тут нет, косатик. Ваша послаще будет, а мы покрепчей любим, с горчинкой, куда вкусней... и как заквасится, у ней и дух пронзей... самая знаменитая капуста наша, серячок-то.

Все надо по порядку. Сперва обсекают «сочень», валят в корыто кочни, а самое «сердечко» в корыто не бросают, в артель идет. Когда ссекают — будто распарывают что-то, совсем живое. Как наполнится полкорыта, Горкин крестится и велит:

— С Богом... зачинай, робятки!

Начинается сочное шипенье, будто по снегу рубят, — так жвакает. А потом — туп-туп-туп... тупы-туки... тупы-туки... — двадцать да двадцать сечек! Молча: нельзя запеть. И Горкин не запретил бы, пригодную какую песню, — любит работу с песнями, — да только нельзя запеть, «духу не выдержать». Денис — сильный, и он не может, Глупая Маша шутит: «спой ты хоть про капусту, в кармане, мол, пусто!...» Денис ей: «а ты косила?» — «Ну, косила, ложкой в рот носила!» Совсем непонятный разговор. «А что тебе, косила, тебя не спросила!» — «А вот то, знала

бы: что косить — что капусту рубить, — не спеть». А она все свое: «пьют только под капусту!» Горкин даже остановил: «Чисто ты червь капустный, тебя не оберешь».

— Годи, робята...

Горкин черпает из корыта, трясет в горсти: мелко, ровно, капустинка-то к капустинке. Опять начинают сечку, хрюпают звонко кочерыжки. Горкин мне выбирает самые кончики от хряпки: надавишь зубом — так и отскочит звонко, как сахарок. Приятно смотреть, как хрюпают. У молодых, у Маши, у Дениса — зубы белые-белые, как кочерыжки, и будто прикусывают сахар, будто и зубы у них из кочерыжки. Редиской пахнет. Швыряются кочерыжками — объелись. Веселая — капуста эта! Ссыпают в кадки, перестилают солью. <...>

В канун Покрова, после обеда, — самая большая радость, третья: мочат антоновку.

Погода разгулялась, большое солнце. В столовую, на паркет, молодцы-плотники, в розовых рубахах, чистые, русые, ясноглазые, пахнущие березой банной, втаскивают огромный рогожный тюк с выпирающей из него соломой, и сразу слышно, как сладко запахло яблоком. Ляжешь на тюк — и дышишь: яблочными садами пахнет, деревней, волей. Не дожدهшься, когда распорют. Порется туго, глухо, — и вот, пучится из тюка солома, кругло в ней что-то золотится... и катится по паркету яблоко, большое, золотое, цвета подсолнечного масла... пахнет как будто маслом, будто и апельсином пахнет, и маслится. Тычешься головой в солому, запустишь руку, и возьмется под руками яблоки. И все запускают руки, все хотят выбрать крупное самое — «царя». Вся комната в соломе; под стульями, под диваном, под буфетом, — везде закатились яблоки. И кажется, что они живые, смотрят и улыбаются. Комна-

та совсем другая, яблочная. Вытираем каждое яблоко холстинным полотенцем, оглядываем, поминки нет ли, родимые ямки-завитушки заливаем топленным воском. Тут же стоят кадушки, свежие-белые, из липки. Овсяная солома, пареная, душистая, укладывается на дно кадушки, на нее — чтобы бочками не касались — кладутся золотистые антоновки, и опять, по рядку, солома, и опять яблоки... и заливается теплой водой на солоде.

На «яблоках» все домашние: даже отец радуется с нами, и матушка, на креслах... ей запрещают нагибаться: она ходит тихо и тяжело, «вынашивает», и ее все остерегают, даже Маша: «вам, барыня, нельзя, я вам достану яблочко». Кругом кресел все мы ее обсели: и Сонечка, и Маня, и брат Коля, и старая кривая Васса, которая живет в темненькой и не отличит яблока от соломы, и Горкин с Марьюшкой. Маша все ужасается на яблоки и вскрикивает, как будто испугалась: «да барыня... какое!..» Сонечка дает ей большое яблоко и говорит: «А ну, откуси, Маша... очень ты хорошо, слушаем». Маша на яблоко смеется, закусывает крепко-звонко белыми-белыми зубами, сочными, как миндаль, и так это хорошо выходит — хру-хру... хру-хру, чмокается во рту, и видно, как сок по губам сочится. И все начинаем хрупать, но Маша хрупает лучше всех. Я сую ей украдкой яблоко, самое-самое большое, ищу карман. Она перехватывает мою руку и щурит глаз, хитро-умильно щурит. Так мне нравится на нее смотреть, что я сую ей украдкой другое яблоко. А на всех нас, на яблоки, на солому, на этот «сад», вытянув головку, засматривает из клетки затихший чего-то соловей, — может быть, хочет яблочка.

Плотники бережно поднимают отяжелевшие кадушки, выносят бережно. Убирают солому, подметают. Многие дни будут ходить по дому яблочные духи. И с какой же радостью я найду закатившееся под шкаф, ставшее духовитее и слаже антоновское «счастье»!..



**Как я встречался
с Чеховым.
За карасями**

Это были встречи веселые, в духе рассказов Антоши Чехонте. Чехов был тогда еще А. Чехонте, а я — маленьким гимназистом. Было это в Москве, в Замоскворечье.

В тот год мы не ездили на дачу, и я, с Пиуновским Женькой, — упокой, господи, его душу: пал на Карпатах, сдерживая со своим батальоном напор австрийской дивизии, за что награжден посмертно св. Георгием, — днями пропадал в Нескучном. Мы строили вигвамы и вели жизнь индейцев. Досыта наострившись на индейцах, мы перешли на эскимосов и занялись рыболовством в Мещанском саду, в прудах. Так назывался сад при Мещанском училище, на Калужской. Еще не чищенные тогда пруды славились своими карасями. Ловить посторонним было воспрещено, но Веревкин Сашка, сын училищного инспектора, был наш приятель, и мы считали пруды своими. В то лето карась шел, как говорится, дуром: может быть, чуял, что пруды скоро спустят и все равно погибать, так уж лучше погибать почетно. Женька так разъярился, что оттащил к букинисту латинский словарь и купил «дикобразово перо» — особенный поплавок, на карасей. Чуть заря — мы уже на прудах, в заводинке, густо заросшей «гречкой», где тянулась проточина, — только только закинуть удочку. Женька сделал богатую прикормку — из горелых корок, каши и конопли, «дикобразово перо» делало чудеса, и мы не могли пожаловаться. Добычу мы сушили и толкли питательный порошок или, по-индейски, — пеммикан, как делают это эскимосы.

Было начало июня. Помню, идем по зорьке, еще безлюдным садом. В верхушках берез светится жидким золотцем, кричат грачата, щебечут чижики по кустам и слышно уже пруды: тянет теплом и тиной, и видно между березами в розоватом туманце воду. Только рыболовы знают, что творится в душе, когда подходишь на зорьке к заводинке, видишь смутные камыши, слышишь сонные всплески рыбы, и расходящийся круг воды холодком заливает сердце.

— А, черррт!.. — шипит, толкая меня, Женька, — сидит какой-то... соломенная шляпа!..

Смотрим из-за берез; сидит — покуривает, удочки на рогульках, по обе стороны. Женька шипит: «Пощупаем, не браконьер ли?» Но тут незнакомец поднимается, высокий, голенастый, и — раз! тащит громадного карасищу, на-шего, черноспинного, чешуя в гривенник, и приговаривает баском таким: «Иди, голубчик, не упирайся», — спокойно так, мастера сразу видно. И кому-то кричит налево: «Видали, каков лапоток?» А это, сбоку, под ветлами, Кривоносый ловит, воспитатель училищный. А незнакомец на кукан карася сажает, прутик в рот карасю просунул, бечевочку под жабры, а на кукане штуки четыре, чисто подлещики, с нашей прикормки-то. Видим — место все неудобное, ветлы, нельзя закинуть. И Кривоносый тащит — красноперого, золотого, бочка оранжевые, чуть с чернью. А карасище идет, как доска, не трепыхнется. Голенастый, в чесучовом пиджаке, в ладоши даже захлопал: «Не ожидал, какое тут у вас рыбье эльдорадо! буду теперь захаживать». Смотрим — и на другой удочке тюкает, повело... Женька шипит: «Надо какие-нибудь меры... самозванцы!» А незнакомец выволок золотого карасищу, обеими руками держит и удивляется: «Не карась, золотая медаль!» Сердце у нас упало. А Кривоносый орет: «А у меня серебряная, Антон Павлыч!..» А незнакомец опять золотого тащит... — и плюнул с досады в воду: плюхнулся карасище, как калоша. Ну, слава тебе господи!

Подошли поближе, уж невтерпеж, Женька рычит: «А, плевать, рядом сейчас закину». Смотрим... — чу-уть поплавок ветерком будто повело, даже не тюкнуло. Знаем — особенное что-то. И тот сразу насторожился, удочку чуть поддал, — мастера сразу видно. Чуть подсек, — так там и заходило. И такая тишь стала, словно все померли. А оно — в заросли повело. Тот кричит: «Не уйдешь,

голуба... знаю твои повадки, фунтика на два линь!..» А ли-ней отродясь тут не было. Стал выводить... — невиданный карасище, мохом совсем зарос, золотце чуть проблески-вает. А тот в воду ступил, схватил под жабры и выки-нул, — тукнуло, как кирпич. Кинулись мы глядеть, и Кривоносый тут же. Голенастый вывел из толстой губы крючок, — «колечко» у карасины в копейку было, гар-монья словно! — что-то на нас прищурился и говорит Кривоносому, прыщавому, с усмешкой: «Меща — не кар-аси у вас, сразу видно!» А Кривоносый спрашивает почтительно: «Это в каком же смысле... в Мещанском пруду-с?» А тот смеется, приятно так: «Благородный карась любит ловиться в мае, когда черемуха... а эти, видно, Аксакова не читали». Приятным таким баском. Совсем молодой, усики только, лицо простое, словно у нашего Макарки из Крымских бань. «А вы, братцы, Акса-кова читали? — нам-то, — что же вы не зажариваете?..» Женька напыжился, подбородок втянул и басом, важно: «Зажарим, когда поймаем». А тот вовсе и не обиделся: «Молодец, говорит, за словом в карман не лезет». А Жень-ка ему опять: «Молодец, в лавке, при прилавке!» — и по-шел направо, на меня шипит: «Девчонка несчастная, а еще «Соколиное перо», черт... сказал бы ему, наше место, прикормку бросили!» Стали на место, разматываем. Ветлы нависли сажени на две от берега, чуть прогалец, поплавку упасть только-только.

Размахнулся Женька, — «дикобразово перо» в самом конце и зацепилось, мотается, а мотыль-наживка над са-мой водой болтается. А там опять карасищу тащут! Жень-ка звонил-звонил, — никак отцепить не может, плещет вет-ками по воде, так волны и побежали. «Плевать, всех карасей распугаю, не дам ловить!» А «дикобразово пе-ро» пуще еще запуталось. Незнакомец нам и кричит: «Ну, чего вы там без толку звоните! ступайте ко мне,

закидывайте, места хватит!» А Женька расстроился, кричит грубо: «Заняли наше место, с нашей прикормки и пользуетесь!» И все звонит. А незнакомец вежливо так: «Что же вы не сказали? у нас, рыболовов, правила чести строго соблюдаются... прошу вас, идите на ваше место... право, я не хотел вам портить!» А Кривоносый кричит: «Чего с ними церемониться! мало их по-роли, грубиянов... на чужой пруд пришли — и безобразничают еще. По какому праву вы здесь?» А Женька ему свое: «По веревкинскому, по такому!» Кривоносый и прикусил язык.

А клевать перестало, будто отрезало: распугал Женька карасей. Похлестали они впустую, незнакомец и подошел к нам. Поглядел на нашу беду и говорит: «Не снять. У меня запасная есть, идите на ваше место», — и дает Женьке леску, с длинным пером, на желобок намотано, — у Перешивкина продается, на Моховой, — «Всегда у нас, рыболовов, когда случится такое...» — потрепал Женьку по синей его рубаше, по «индейской»: «Уж не сердитесь...» Женька сразу и отошел. «Мы, говорит, не из жадности, а нам для пеммикана надо». — «А-а, — говорит тот, — для пеммикана... будете сушить?» — «Сушить, а потом истолчем в муку... так всегда делают индейцы и американские эскимосы... и будет пеммикан». — «Да, говорит, понимаю ваше положение. Вот что. Мне в Кусково надо, карасей мне куда же... возьмите для пеммикана». Вынул портсигар и угощает: «Не выкурят ли мои краснокожие братья со мною трубку мира?» Мы курили только «теретере», похожее на березовые листья, но все-таки взяли папироску. Сели все трое и покурили молча, как всегда делают индейцы. Незнакомец ласково поглядел на нас и сказал горлом, как говорят индейцы: «Отныне мир!» — протянул нам руку. Мы пожали, в волнении. И продолжал: «Отныне моя леска — твоя леска, твоя прикормка — моя прикормка, мои караси — твои караси!» — и весело

засмеялся. И мы засмеялись, и все закружилось, от курения.

Потом мы стали ловить на «нашем» месте, но клевала все мелочь, «пятачки», как называл ее наш «бледнолицый брат». Он узнал про «дикобразово перо» и даже про латинский словарь, пошел и попробовал отцепить, но ничего не вышло. Все говорил: «Как жаль, такое чудесное «дикобразово перо» погибло!» — «Нет, оно не погибнет!» — воскликнул Женька, снял сапоги и бросился в брюках и в синей своей рубаше в воду. Он плыл с перочинным ножом в зубах, как всегда делают индейцы и эскимосы, ловко отхватил ветку и поплыл к берегу с «дикобразовым пером» в зубах. «Вот! — крикнул он приятному незнакомцу, отныне — брату, — задача решена, линия проведена и треугольник построен!» Это была его поговорка, когда удавалось дело. «Мы будем отныне ловить вместе, заводь будет расчищена!» Брат бледнолицый вынул тут записную книжечку и записал что-то карандашиком. Потом осмотрел «дикобразово перо» и сказал, что заведет и себе такое. Женька, постукивая от холода зубами, сказал взволнованно: «Отныне «дикобразово перо» — ваше, оно принесет вам счастье!» Незнакомец взял «дикобразово перо», прижал к жилету, сказал по-индейски — «попо-кате-петль!», что значит «Великое Сердце», и положил в боковой карман, где сердце. Потом протянул нам руку и удалился. Мы долго смотрели ему вслед.

— Простяга! — взволнованно произнес Женька высокую похвалу: он не бросал слова на ветер, а запирали их «забором зубов», как поступают одни благородные индейцы.

Мимо нас прошел Кривоносый и крикнул, тряс пальцем:

— Отвратительно себя ведете, а еще гимназисты! До-

веду до сведения господина инспектора, как вы грубили уважаемому человеку, больше вашей ноги здесь не будет, попомните мое слово!

Женька крикнул ему вдогонку: «Мало вас драли, гррубиянов,— сплюнул и прошипел:— Бледнолицая с-собака!..»

Припекло. От Женьки шел пар, словно его сварили и сейчас будут пировать враги. Пришел Сашка Веревкин и рассказал, что незнакомец — брат надзирателя Чехова, всю ночь играл в винт у надзирателей, а потом пошли ловить карасей... что он пишет в «Будильнике» про смешное,— здорово может прохватить!— а подписывает, для смеха,— Антоша Чехонте. А Кривоногого выгонят, только пожаловаться папаше, записано в кондуите про него — «был на дежурстве не в порядке, предупреждение». Женька сказал: «Черт с ним, не стоит». Он лежал на спине, мечтал: нежное что-то было в суровом его лице.

Случилось такое необычное в бедной и неуютной жизни, которую мы пытались наполнить как-то... нашим воображением. Многого мы не понимали, но сердце нам что-то говорило. Не понимали, что наш «бледнолицый брат» был поистине нашим братом в бедной и неуютной жизни и старался ее наполнить. Я теперь вспоминаю, из его рассказов,— «Монтигомо, Ястребиный Коготь...» — так, кажется?..



Весенний ветер

Утром белел на лужах сквозной ледок, а теперь, за полдень, бегут ручьи, нежатся на солнышке собаки и полощутся бойко воробьи. Ветер — «вскрышной», тугой, сыровато-теплый. Потянет, рванет порой: бойкий,

весенний ветер. Прислушаешься — шумит-смеется! И небо — в ветре: густое-голубое за золотистыми прутьями тополей. Тепло и — свежесть. И в свежести этой — струйки: от тающего снега, от потеплевшей земли и крыш, от бьющихся в ветре прутьев, которые посочнели и сияют от ветра, от ветра, пронесшегося полями и лесами?.. И голубыми как будто пахнет... — томною воркотнею их, — чувствуется молодому сердцу, — и теплой сыростью погребов, запоздавших с набивкою, с помягчевшим льдом, зелеными-голубыми глыбами, с грохотом рухающимися в темные зевы лавок. Весна... Она засматривает в глаза разрушенными «жаворонками» и белыми колпачками пасох, в бумажных розанах, кивает с телеги веселой вербой — красноватыми прутьями и серенькими вербешками, золотится крестами в небе, кричит в голосах разносчиков...

Пятиклассник Федя — если бы его звали: Георгий или Виктор, что значит «победитель»! — а то все — «ах ты, Федя, съел медведя!» — сегодня совсем весенний: купленная для Пасхи легонькая фуражка, с широкою, модною тульею и с настоящим «гвардейским» кантом, весенняя шинелька, вынутая сегодня из сундука и пахнущая невыносимо нафталином, — к четвертому-то, пожалуй, выдохнется! — сияющие новые калоши и кремовый шелковистый шарфик. Шарфик делает его очень интересным. В новеньком портмоне — рубль восемьдесят пять копеек, вырученных вчера у букиниста за «Собрание сочинений Загоскина» в роскошном переплете. Но самое главное — «ровно в 4, по Спасской башне!». На Вербе, под самой стеной Кремля, где с возков продается верба, условлена у них встреча с Ниной. Дивное какое имя!..

«Женщины гораздо находчивее мужчин!» — взволнованный близким счастьем, мечтал Федя, проходя мимо Иверской в ворота, где горластые молодцы орут — «а этот, с «морским», ярославским-костромским!» — а старушки

курят «монашками» на жестянках и призывают сладко: «возьмите, благодетели-кормильцы, для духовного воздушка...» — «Вот Ниночка-милочка...» — «Вот на Спасской пробьет четыре, буду в Вербмах!» — «А то бы и не найти,— миллион народу!...»

А над миллионом народа, над залитою дочерна великою Красной площадью, на которой, покачиваясь, ходят грозди красных и голубых шаров и незыблемо вышшаются под «Мининым» серые спины и синие шапки, с султанчиками, молодцов-жандармов,— стрельчатая, увенчанная золотым орлом Спасская указывает на черном великом круге золотою стрелою — три!

Федя — в толпе, и его оглушает и гоготом, и писком, и щелканьем, и треском, и свистом-ревом, — всем миллионным гулом народной Вербы. Сверкает и плещет в ветре, пестрит и колет — бумажными цветами, вязками розочек иконных, пузатыми кувшинами с лимонадным морсом, стеклом и глазастой жестью, сусалью и подвесками, качающимися лампадками на цепочках, золотом-серебром на солнце, ризами и цветными поясами, пущенными воздушными шарами, яркими лоскутками... — звонкою пестротой торга. Кружит глаза и уши — «летающими колбасами» с визгом, «тещиными языками» с писком, издающими чертями, свинками, русскими петрушками, «американскими» яблочками на резинках, трескучими троичными кузнецами, дудками и барабанчиками, пистолетиками, свистульками, щелкунами, ревущими медведями, бякающими барашками со скрипом, барабанною дробью зайчиков...

Многоглавый и весь расписной Блаженный цветет на солнце, над громким и пестрым торгом, — пупырями и завитками, кокошничками и коlobками цветных куполов своих, — главный хозяин праздника. Глазеют-пучатся веселые купола его, сияют мягко кресты

над ним, и голубинные стаи округ него. Связки шаров веселых вытягиваются к нему по ветру. А строгие купола соборов из-за зубчатых кремлевских стен, в стороне от крикливой жизни, не играя старинной позолотой, милостиво взирают на забаву.

Взглядывают на них от торга — и вспоминают: «Пасха!» И на душе теплеет.

А Спасская выбивает переливом — третью четверть. «Пора к Вербам!..» — спохватывается Федя, и у него замирает сердце.

Он представляет себе тоненькую фигуру Нины, с длинными темными косами, милое личико, нежное, снежно-восковое, маленький ротик-губки, жемчужно белеющие зубки, остро закинутые брови и быстрые синеватые глаза, умные-умные, от которых он все робеет, не в силах оторваться. Он видит даже, как встряхивает она головкой, и косы ее летают... как она чуть косится, оглядывая себя и щурясь... Какой уже раз он вспоминает:

«Сама спросила... — «Вы будете на Вербе?» — и первая же сказала, что непременно будет... — «В четыре... непременно?» О, чудная, неземная... Ни-на!..»

Он медленно подвигается в толкучке, и все вокруг — будто неземное!

Пышные, небывающие, розы протягивают ему букеты, играют в ветре, кивают ему совсюду — с проволочков, с палаток, с вышек, — чудятся из чудесной сказки. Колышались связки шаров гибко выгибаются к небу, и он неотрывно смотрит, как оторвавшийся красный шарик тянет к Блаженному по ветру, стучается-ползет под купол, рвется по завитку, как клюква, и вот уже у креста, и вот уже над крестом, делается все меньше, меньше... — кружится даже голова.

— Животрепящие бабочки!.. А вот-с животрепящи-ми-та-а!

Мальчишка — с пестрым щитком товаров. Кричит до того пронзительно, словно у него в глотке дудка.

Радуют глаза блеском трепещущие яркие бабочки — разноцветные, мягкие, обезьянки из синели — такие милые... Федя покупает себе и Нине — и обезьянок, и бабочек — и накалывает, как и все, на грудь.

— Па-следний чиж... самопоющие водяные соловьи!.. Чу-до двадцатого века... чуввилль-чуввилль... тррр...

— Ка-му жука?.. самые американские жуки!.. Без ключа — без заводу, ор-ловские по ходу! Барыня, дозвольте жучка порекомендовать!..

— Ело-зющие му-хи... мму-хи елозющие!.. Купите мушку для удовольствия!.. Му-хи елозющие, му-хи, мму-хи!!

— Самый-то брюнет руку к сердцу прижимает!.. Барышня, барышня... даром отдам, только поглядите! В трубочке ходит — прыгает, ножкой дрыгает, семь годов картошку копал, на десятый в баночку попал!..

— Петушки-петушки, бьющие петушки! Барин, обратите такое ваше внимание — до чего яры!.. А-йя с петушками, с гребешками!

— Рыбки золотые!.. ррыбки, рры-бки живые-золотые!.. Золотая стрела на Спасской — прямо. Четыре пере звона. Подождали... — и вот четыре вязких, как по старому чугуну, удара сонно упали в гомон.

— Страшные муки загробной жизни! видение афонского монаха Дионисия в аду... с приложением фотографии!..

— Па-следний чиж... па-следний!..

— А вот, с Пуришкевичем!.. Ко-му Пуришке-вича продам?

— Паж-жалуйте-с, самый шустрый... Приказали бы уж парочку бы, барич!.. Морски-е жи-тели! самые раз-живые, голубые, хвост шилом-петелькой!..

— Ши-ляпина продаю... Ши-ляпина! Не скворец, а... Барыня, верьте божедкому слову... себе двугривенный!..

— Небьющие куколки-секрет! Извольте-с, мордой об морду бейте... Да-а, вам бы еще кирпичом ее... Вас бы вот так стукнули об чевол!.. Небьющие куколки-секрет!..

— ...На построение храма божия! В селе Замости, Мещевского уезда Калужской губернии... на пятое число октября... Божьим напущением... стихейный пожар-бедствие ис-пепелил... равноапостольного...

— Самый злющий тещин язык, с жалом! Шипит-свистит, на кончике-то, гляньте... пистолет! Злющая была, вчерашь только сдохла-померла!..

— Издыхающая свинка! Барыня, издыхающая свинка!.. ло-пнула!.. Барыня моя, лопнула!..

— Вон, вон... шары!.. да вон, ветром сорвало!.. да вон, на кумпол-то понесло... шары! Обошли?! По-шли! Цельная вязка пошла... капиталу сколько!.. Мальчишки срезали, боле тыщи шаров!..

Ветер ерошит розы, треплет на вышках перья, пузатит-трясет палатки, хлещет цветами в лица... Веселый ветер! Щелкают кумачи и ситцы, качаются лампадки, плещутся золотистые рыбки, играют «зайчики»...

— Мухи, м-мухи!.. елозющие мухи!.. мухи елозющие... мухи!..

— Ай, ве-тер, ветрило, не дуй мне в рыло, а дуй мне!..

Феде и весело, и больно... Пробыться трудно, а уже семь минут пятого! Как же не рассчитал?.. Нина уже там, конечно... За иконным рядом, в фольге и блеске, с летающими по ветру розочками на привязи, шествуют, возносясь на палках, колко сияющие клеточки из жести, в кольчиках, с легкими золотыми канарейками.

— Самыя-то жар-птицы! Мамаша, купите дите веч-

ную кинареечку — жар-птицу?.. Не пьет, не клюет, только песенки поет!

Феде мелькает детство, первая вербочка, золотой луч солнца, и в нем — воздушная восковая канарейка, первая радость жизни. Позванивают клетки на ветерке, мечутся «канарейки», сверкает жезль.

А вот и вербы. Они в возках. Держатся под стеною неслышно, не путаются в торге. Красноватые заросли в серых мушках, тянутся, что кусты на пойме. Сидят мужики в кустах. Лошадиные головы кротко дремлют. Стена за ними, под нею снег... Несет холодком полей. Сколько веков — над ними, за ними, — дремлют! Мужики в охабнях — в полушубках, с широкими откидными воротами, в дремучих шапках, — исконная Россия.

Федю волнует сладко: где-то тут Нина, смотрит. Он поправляет фуражку и принимает серьезный вид.

— Хренку-то бы взял, родимый!..

Отжатые шумным торгом, топчутся на грязи с корявыми пучками, — слабеющая старость.

— Ваше степенство!.. самая святая верба, с-под Новорусалима!..

— Не верьте... — сипит сбоку красноносая фигура с оборванными карманами, с ворохом длинных сучьев в зеленом пухе, — обратите самое серьезное внимание!.. Перед вами не кто, а бывший чиновник консистории, занимаюсь вербой! Глядите, научный сорт по Кормчей Книге! Какой состав?.. У них прутье, а у меня в мохнатку... Э-та не в-верба?!.. Самая вайя, на церковнославянском языке!..

— В Лександровском саду сейчас наломал, сторожа погнажи!

— Оляха-а?! И вы можете повторить клевету?! Раз это вайя священная! Можете покупать, можете... Но только имейте в виду, для таинства недействительно!..

Боже, но где же Нина!..

— Ах... уж хотела идти домой! — радостно, но с укором восклицает за вербой Нина. — Купила. Хотите, поделюсь?

Он прямо очарован, не может найти слова. Нина совсем необыкновенная, среди верб, в новой весенней кофточке! Ужасно идет к ней синее, и розовый бант на шейке, и синяя шляпка с широкими полями совсем назад, с крылышками, как у Гермеса!.. Похожа... на итальянку?.. Совсем как Кавальери!..

Она счастлива, понимая его восторг. Она отделяет ему пучочек. Краснея и волнуясь, Федя прикалывает ей бабочку и розовую обезьянку.

— Ну, какая же она миленькая, прелесть!.. — восторженно шепчет Нина и даже целует обезьянку.

— Будем ходить?.. — почему-то робея, говорит Федя, не веря счастью. — Так там ужасно весело!.. Только крепче держаться за руки, а то разобьют...

Радостная дрожь в нем. Нина как будто выше! Новые башмачки, и без калош!

— Ни-на, вы же ноги промочите!.. ужасная грязь и лужи! — с ужасом шепчет он, оглядывая смущенно бурые свои калоши.

— Могу, по камушкам, пустяки!.. Купила обувь... — показывает она носочек, уже запачканный, — и не могла подобрать калош, такая маленькая нога!..

Он готов опуститься перед ней в лужу с плавающими вербочками и рваным «тещиным языком» и взять осторожно в руки эту восхитительную ножку!

Они крепко берутся за руки и сливаются с гулким морем.

— Мыши заводные, мы-ши, мы-ши! Мы-ши самые заводные, живые мыши!.. Мыши живые-заводные!..

— Самотреща-щие барабаны!.. трещащие барабаны!.. Барышня, поддержите... самотреща-щие барабаны!..

— А вот длисированные лигушки! Ко-му продам, са-мые длисированные лигушечки!.. Барышня, глядите,— сама елозит!..

— Веч-ное стеклянное перо! Самопищее перо, ве-чное!..

— Спички с мышью, тайная коробка для знакомых! Желаете, парижский секрет?.. Потихе, отойдемте, выска-кивает воспрещенная цензура!..

— Господин гимназист, желаете... полнографию при-обрести, редкое издание?..— сыплется воровато-басистый шепот.— Полное собрание сочинений господина Баркова, любимого поэта Пушкина, «Горе от ума»?.. Редкий слу-чай, пол-ное собрание сочинений...

— Барышня, купите про любовь: «Любовь за гробом, или Драматический роман в трех частях», двугривенный! «Черная галка», веселый народный песельник, пять копеек!..

— Китайский физический секрет, магическая фото-графия, химическим нагревом открывает сюжет! Верьте, господин, богу, безо всякого обману, монаху в секретном помещении, штука двадцать копеек! Химическим нагревом раскрывается сюжет, увлекающий научный опыт!..

— Сса-мые знаменитые садисты любви, маркиз Сад! Самые зна...

— Которые сады садят...

— Пожалуйста, проходите без любопытства! Сса-мые знаменитые...

— Всемирные анекдоты про Суворова, шута Балаки-рева, Наполеона, Лександру Макелонского, баснописца Крылова и проч.!.. Гер-рой-куртизаны, фавориты и всемир-ные анекдоты про Суворова, шута...

— Натурально японские розовые мыши, шесть гривен

пара. Может разводиться в цветном горшке на пидистале, украшение гостиной! Розовые мыши, редкий сорт, может разводиться ручным способом...

— Моментальная электрическая вакса «Молния», без натиру!..

— Камень-стеклорез, точит-режет-полирует-сверлит вместо драгоценного алмаза: незаменимое средство для путешествия за полтинник! Гордость русского ума! магический камень-саморез вместо драгоценного алмаза за полтинник...

— ...в селе Боры, Гороховетского уезда, неисповедимым божьим гневом... с градом попалило до основания... Петра и Павла...

— Веч-ная свеча, горит несгораемо без хлопот! Вечная...

— Последний чиж! По-следний чиж! Ку-пите чижа-секлетаря!

Рука с рукой, Нина и Федя идут в весеннем очаровании, в гик-свист, в немолчном треске сыпучей, бойкой, смешливой народной речи. Струится по их глазам, смеется и уплывает, как эти шары по ветру. Все им смешно и ново. Ловят глаза друг друга и говорят глазами: какое счастье! Шумливый ветер срывает фуражку с Феде, сбивает на Нине шляпку,— и это радость! Качает шесты в гирляндах, бешено вертит «мельнички», кокает пасхальные яички на подвесках. Какая россыпь! Сахарные, синелевые, сусальные, с херувимчиками — «хотьковские», шоколадные, плюшевые, картонные, фарфоровые, хрустальные, глиняные, живые...

— Вкладывающие яйца, дюжина в одной! Лекарь красоты, кустарей Троицкого Посаду, заграничные медали! Пунцовые вкладывающие!..

— Вечная водяная панорама, тайны океана! В ноч-

ном освещении эффект! Вечная панорама океана-чуда, наглядное показание!..

Любуются стеклянными шарами на подставке, с травами и одинокой стеклянной рыбкой в голубоватом «море». Роятся в пестрой россыпи токаря, совсем уже им ненужного,— в кубариках, рюмочках, грибочках; покупают расцветающие в воде японские цветочки, покупают сбитого монпансье, розовато-стеклянными комами рассыпанного по прилавкам с кучами липких фиников, шепталы, мушталы, кишмиша, фисташек, рахат-лукума, халвы и заливных орешков,— всякого сладкого товара, в котором коряво роятся волосатые пальцы высокого желтого лица перса в бараньей камилавке.

— Барышни, сладки товар...— блудливо мурлычет перс.

Они гуляют и сладко облизывают губы.

— Ах... что за прелесть!— радостно восклицает Нина.

Голубочки из алебаstra! Они удивительно воздушны, нежны... как сливочное мороженое! лапки у них как из коралла. Носиками целуются, нежные, снеговые голубки!..

— Парочка восемь гривен. Чего-с? Это обнаковенно серые, верно-с, за полтинник. А эти... винициянские, первые образцы скульптур! В городе три целковых отдадите!..

Час тому назад самые эти стоили полтинник! Но как же торговаться?.. При Нине неудобно.

— Это же безумно дорого!— шептала Нина.— Зачем вам?..

— Но это же шедевр... произведение искусства!..— шепчет смущенно Федя и видит с грустью, что остается всего полтинник.

Он бережно берет голубков, отходит и говорит, волнуясь:

— Ниночка, это... на память о нашей... встрече...

— Что за глу-пости... Федя!..— с радостной укоризной пробует протестовать Нина, грызя орешек и быстро облизывая губки.— Конечно, они красивы, но... как вам не стыдно!..

— Можно поставить на этажерочку... будет напоминать о нашей Вербе!..

— Ну... мерси!..— не поднимая от голубков лица,— какие у них ресницы!..— И на щеках ее появляется румянец.— Впрочем... это нас ни к чему не обязывает, надеюсь?

— Ммм... я, вообще...— спохватываясь и ежась, не находит ответа Федя, и сердце ему сжимает.— Правда, они очень... стильные?..

— То есть в каком смысле?!.

— А ввот, с животрепешими-то!..

— Мальчик, мальчик!..

Нина выбирает на щите самую уморительную обезьянку, с перышками-букетцем в лапке, и дает храбро гри-венник вместо четвертака.

— А вот вам от меня!— прикалывает она Феде обезьянку.

— От вас... лучше бы самый простой цветочек!— вздыхает он.

— Вы недовольны?!.

Через минуту она выбирает крупнейшую голубую розу и прикалывает Феде к сердцу.

— Я безмерно счастлив!..— говорит он восторженно.

Золотая стрела показывает половину седьмого. Вереница нарядных экипажей великого «вербного катанья» начинает понемногу взрываться. В толпе свободней, и видны люди, как шлепают. Но крики не слабеют. Ревут из последних сил. Много сил! от весеннего воздуха, от будоражащего все тело ветра, от праздника, уже глядящего из-за стен, от бесшабашного гомона, дразнящего

молодое, как ляганье по тарелке — птичку, от благовестов ко всенощной, от силы великого народа...

— Ах, надо ко всенощной!.. — спохватывается Нина. — Вербу обещала маме!..

— Ну... еще, немножко!.. умоляю вас!..

Стайки гимназистов трещат в уши трещотками, «языками», выпаливают бомбочками с конфетти, тычут орущих свинок. Чаще летят шары. По всему небу тает клююками и голубыми бусинками. Много прижалось их в складах по куполам Благовещенского.

— А-а-а-а!!! На-ши!..

Встреча, гимназисты.

— «Ах ты, Федя... съел медведя!..»

Негодяй Калгашкин, живорыбник, болван-верзила. Расходятся, обменявшись колкостями. Нина ведет себя прямо непозволительно: вся изломалась, покатывается, как в истерике. Давится даже:

— Ой!... х-а-ха-ха... «Федя... съел ме... медведя!..»

Как это некультурно!

— Глупая пошлость, а вы... рады?! — говорит резко Федя.

Она взглядывает на него сквозь слезы, розовая вся; хочет что-то сказать — и прыскает, перегибаясь чуть ли не до колен, роняя косы. Ужасно!.. Высокий, плотный, в бобровом воротнике, в цилиндре, сося сигару, приостанавливается и смотрит сверху на ее плечики и косы, на ее совсем детский туго обтянутый белый проборчик на затылке и позволяет себе сказать совсем незнакомой приличной девушке:

— Ах, какая чудесная девчужка!

Федя вытягивается и кричит нахалу:

— Прошу без замечаний!..

— То-то-то-то-то-то!.. — передразнивает его наглец, окидывая с фуражки и до калош нагло-развратным взгля-

дом,— сальный альфонс, конечно!— и повторяет настойчиво: — Милю-синькая девчурочка!..

Подчмокивает даже!

Федя готов закричать — нахал!— но взлетает перед глазами клетка и его оглушает рев:

— Па-следний чиж! па-следний чиж!.. Ку-пите чижа-секлетаря!

Заметно тише. Совсюду — благовест. Слабый багрянец на куполах, с заката, не отстаёт сопливый, выклянчивает купить последний коробок спиц.

— Жлайте... Мсим Го-рькова... па...следнего продам!..

Пьяный, чуть на ногах, верзила в загнутом фартуке, весь в цветочках, обезьянках и бабочках, с «летучею колбасой» на картузе — султаном, разглядывает опустившегося на дно синего «морского жителя» в трубочке, яростно нажимает на пленочку — и с маху расшибает об мостовую.

— Взять!.. — пальцем городовому пристав.

— Вваше... благородие!... да ведь... сдох ведь!!.

Федя с Ниной уже в Воскресенских воротах. Идут молча.

— Погодите... — трогает за рукав Нина, берет свою розовую обезьянку и прикалывает на грудь Феде.

— Храни ее всегда! — шепчет она значительно.

Какой золотистый вечер! Какие чудесные «монашки», курятся рубиновыми головками и по-неземному пахнут! Какие золотистые яблочки плещутся в новеньких золотистых шайках! До чего румяны и вкусны «грешники» на лотке, и какое чудно-зеленое масло льется сонною струйкой в сероноздристые их надрезы!.. Обоим хочется «грешников» — и не могут сказать об этом. Хочется и яблоков моченых. Вспоминают оба кислую, сочную мякоть их и

розоватые зернышки в глубине, которые разгрызать так вкусно!

В остром, с навозцем, воздухе — холодок. Мелкие лужицы подергивает морщинками. Под ногами шершавей стало: морозит в ветре.

— Ниночка... — говорит Федя нежно, вдыхая необыкновенный, напитанный счастьем воздух. — Хотите... моченых яблоков?..

— Н-нет... — кокетливо говорит она, встряхивая косами. — Знаете, лучше... пирожков с яблоками!..

— Верно! — радостно говорит он, тревожно щупая портмоне. — Сейчас по Тверской, в начале... Чувев будет!

Страшно хочется есть обоим.

Почти бегут, сжимая друг другу пальцы.

У Чуева не протолкаться. Столики заняты. Но можно стоя, гораздо интересней. Стесняясь, обжигаясь, радостные, они глотают пухлые пирожки, роняя яблочную кашицу себе на грудь, на плюшевую даму за столиком, на подбородок, обсасывая украдкой пальцы...

Идут уже под ручку, Александровским садом, в сумерках. Присаживаются, болтают. Много таких же, — и все одни. Над ними уже звезды. Поверху пробегает ветром, свистит и шуршит ветвями. Звезды горят, мигают. Синяя ночь, весенняя.

На Каменном мосту черно народом: лед пошел! Стоят у чугунной решетки, смотрят. Шипит белая каша, пенится, прет-идет. Прижимает он ее руку, и у обоих кружится голова.

— Смотри!.. смотрите, едем!.. Федя!.. едем!! — радостно вскрикивает Нина, сжимая его руку.

Едет и едет мост, а река недвижна. Их уносит неслышно, плавно, а всё — стоит! Навстречу ветер, веселый, бойкий, — только держи фуражку. Едут, а всё — на месте. Направо, впереди, — смутная, под мутно-золотым пле-

мом, громада Христа-спасителя. Едут, а он — на месте! И он с ними? И весь притихший народ, и невидные, где-то там, Воробьевы горы, и позади — Кремль туманный, и вся Москва, и звезды в дочерна-синем небе... Все подвигается тихо, плавно, — куда?..

Радостные, немые, они отдаются вместе этому дивному, уносящему их течению...

Идут молча. Пора. На углу надо расставаться.

— Нина, вы у Успенья говеете?..

— Да, конечно... А вы?..

— Я... Пожалуй, и я тоже!..

— У нас скоро служат, батюшка старенький...

Рук все не выпускают.

— Ах, идти... Скажу, что была... в Казанском соборе? Только вот... голубки-то?.. Подруга подарила!..

Оба тянутся за руки, смеются тихо.

— Ну... ухажу? — первая говорит Нина и, встряхивая, вырывает руку.

Бойко обертывается, и косы ее летят, как на гигантских шагах. Федя готов побежать за ней, но это неудобно: крыльцо через два дома.

— Хотите, на реку завтра... приходите!.. — неожиданно оборачивается Нина. — Непременно пойду смотреть!

— В котором?..

— Ну... в десять?!

— Непременно!

— До завтра?

— До завтра... Нина!

Столько счастья, что он едва переводит дух. Он идет и целует вербу, которую Нина дала ему, щекочет лицо вербешками. Целует и розовую обезьянку, и необыкновенную голубую розу. Какое небо, какие звезды, воздух! Какая чудесная, неземная Нина... Какие у ней косы, глаза, ресницы, губки, пальчики, какой неземной голос!..

Идет и глядит на звезды через черные теперь прутьики...
Федя сейчас заснет...

Сидят на стенке розовая обезьянка и сказочная голубая роза. Воздушно покачивает-ходит пунцовая голубая гроздь, маленькая, совсем в ладошку... — живой, небывалый виноград! Разноцветные виноградинки смешно отрываются от нее, плывут куда-то... Плышет белая река... Звезды сияют в прутьиках — глаза Нины... И вот, в забытьи, в солнечном озарении, на луче, покачиваясь, сплывает к нему в сверканьях, сквозная, в кольчиках, клеточка с воздушною золотистой канарейкой... — первая радость детства.



Как мы летали

(Из воспоминаний приятеля)

I

Было это на Пасхе... ну, конечно: еще Петьку Драпа облизал хоботом слон, а Драп растрогался и прожертвовал слону луковое яичко! Теперь я хорошо вспомнил прошлое.

Я снова маленький, на мне желтый костюмчик и башмачки на пуговках. За эти башмачки Драп дразнит меня девчонкой. Да, сапоги куда лучше! Вон у Васьки были сапоги — со скрипом, на гривенник скрипу в них было; даже собаки пугались. Милый Драп! Вот его плутоватая рожица, измазанная сапожным варом, и белые голодные зубы, которые всегда что-то грызут. Я и теперь еще помню кислый запах сапожного клейстера и острый дух черной дратвы. Помню и удивительный подвиг Драпа на Даниловском кладбище, где и теперь, быть может, все еще полеживает в пруду старый сом; и милых жуликов в нашем саду, в беседке, с которыми провел ужасную ночь незабываемый Драп; и погибших голубей-чистяков, по которым Драп плакал... Сколько всего!.. Про сома и про жуликов даже вспомнить страшно. А вот я лучше расскажу веселенькую, — а пожалуй, и не совсем веселенькую, — историю о том, как мы летали.

Мы живем на большом дворе, — его уже нет теперь! Тут садишка, с яблоньками и березками без верхушек, сараюшки и погреба, колодец, в который можно звонко плевать, и очень большая лужа. Васька и Драп любят прыгать в ней босиком и нарочно брызгают на мой чистый костюмчик. Это мои друзья. Васька — сын сапожника Прохора, с нашего двора. Ему лет девять, он на целую голову выше меня и такой тонкий, что может быстро пролезть в подворотню. Драп в науке у Прохора: учится сучить дратву и носить сапоги заказчикам. Он еще выше Васьки, мордастый, кулаки у него железные, а грудь чугунная. Он часто выпячивает ее и предлагает «попробовать»:

— А ну, попробуй! Бей, на! Кулаком бей!

На вихрастой голове его много плешинок, словно ее ощипали. Васька говорит, что это оттого, что «учит отец сучить дратву».

— А почему он — Драп?

— А в таком пальте к нам пришел, весь рваный! Отец и прозвал.

Да, у Драпа пальто особенное, до пяток, без пуговиц, черно-зелено-желтое, на спине нашиты разные лоскутки, и наш дворник Гришка называет это пальто фраком. Конечно, на смех. Мы с Васькой признали Драпа героем с той поры, как он, сидя на заборе, насыпал какому-то барину сухого навозу на шляпу-цилиндр. За это он три дня высидел на веревке, на хлебе и на воде. Старичок-лавочник, у которого из сарая «убежал» ящик медовых пряников, пообещал Драпу:

— Быть тебе, язва, на каторге, как пить!

А Прохор так и сказал, когда я сунулся было проведать друга:

— Я ему еще голову оторву! — и такое сделал лицо, что Драп метнулся, словно летела в него колodka.

Славился и Васька, и потому было у него еще два имени: Меченый и Хорек. Меченый — это за красное пятно на лбу: приложил кто-то утюгом. А Хорьком ни за что прозвали: таскал хорек яйца у скорнячихи из сарая, и Васька даже видал хорька, как он «нес яйцо в лапках», а все думали на него. Но он и не думал обижаться, а про «меченого» говорил даже с гордостью:

— Бог шельму метит!

Я тоже подавал некоторые надежды прославиться. Тот же лавочник, старичок Трифоныч, предсказывал мне даже горькое будущее:

— Уж и выйдет из тебя пе-рец!

Но мы пользовались и любовью. Особенно нас любили стекольщики, мороженщики и метла дворника Гришки, которая по нас даже плакала. Гришка всегда говорил:

— Эх, плачет по вас метла!

II

Итак, дело было на Пасхе.

Сияло солнце, трезвонили на колокольнях и чуть-чуть начали зеленеть березки в саду. Васька сидел на курятнике, в новой, гремучей розовой рубахе, которую уже успел располосовать заборным гвоздем, и ловил голубей в петельку, на крупу. Но голуби знали хитрость и не шли. Я тоже подманивал, но и ко мне не шли. Драп ободрял: теперь только успевай огребать пятаки! Обещал ему заказчик один, аптекарь, по пятаку за голубя: любил жареных голубей. Вот Драп и старался изо всех сил и гремел по крышам, заганивая к нам голубей. Но голуби только мотались с крыши на крышу. А «пятаков» было много. Мы с Васькой на одном только амбаре насчитали сорок три «пятака»! Драп сердился, что мы очень громко дышим и что Васькина розовая рубаха портит все дело, и придумал самый верный способ: ловить по десятку сразу. Только бы достать столярного клею и палить на крышу. Сами и будут приклеиваться! Но тут прибежал Копченый, кузнецов мальчишка, и заорал, словно его резали:

— Чего я скажу-то! Француз на шаре летит! Вот ей-богу!!

Он так принялся божиться и креститься, что мы сейчас же поверили, бросили ловлю и узнали, что вчера приходил от портных к кузнецам в гости земляк и звал глядеть всех на зверей, которые живут в саду, рядом с портными, и на француза. В сад можно прямо через забор, — так все портные ходят, а то дорого, — из сада и полетит француз. Полетит он под шаром, на одной руке заберется в самую высь, а оттуда сошвырнется вниз головой на зонтике. Тут уж мы не поверили, но Копченый принялся так бо-

житься, так стучал себя в грудь кулаком, что Драп задумался и велел мальчишке поцеловать крест. Мальчишка поцеловал. Тут все поверили. Драп погрозил ему кулаком, если надует, и побежал с Васькой готовиться в дорогу. А я посмотрел на окна: не пустят с ними! Но когда мальчишка сказал, что француз, может быть, расшибется сегодня вдребезги, — все говорят, что обязательно расшибется, — я решился во что бы то ни стало бежать, хоть и без шляпы.

Пока Драп с Васькой бегали, мальчишка выиграл у меня в орлянку пару яиц, выменял картинку из сахарного яичка на гайку, — чикать змей гайкой на нитке куда легче, чем камушком! — съел яйца и сказал в утешение, что без шляпы бежать даже легче. Прибежал Драп и велел мальчишке собираться. Он был уже наготове: надел старый, обсаленный сюртук без пуговиц, до самых пяток, подаренный ему хорошим заказчиком, — совсем как пальто! — надел новый картуз за три гривенника, сползавший ему на глаза, и выполоскал в луже опорки. Васька был очень нарядный: был он в пиджаке до колен и с длиннейшими рукавами, так что мог даже хлестаться, в сапогах со скрипом на гривенник, а на голенища выпустил гороховые штаны. Кузнецов мальчишка помылся под колодезцем, размазал сажу и посмотрелся в лужу, чисто ли вымылся.

— А ты не ходи! — строго сказал мне Драп. — Задавят еще.

Тогда я вытащил из кармашка заветный кошелечек красного бархата, маленький, как пакетик для порошка, и показал, как смиренно лежит там маленькая бумажка — рублик.

— Я бы там мороженого купил... — сказал я Драпу просительно. — Я всех зверей знаю. Это Зоологический сад называется...

Драп помял кошелечек, тронул бумажку и сказал с завистью:

— Ишь жила какая... а не показывал! Смотри, выпорют тебя!

Васька с кузнечонком тоже подержали кошелечек, и Васька сказал:

— Возьмем. Может, и не выпорют.

И мы помчали.

III

Дран сунул опорки в карманы сюртука, чтобы легче бежать. Васька тоже скинул сапоги и мчался, расклавывая их за ушки. Кузнечонок был совсем налегке: оказывается, его послали за луком в лавочку, а он убежал с нами. Я бы тоже разделался с башмачками, да было долго расстегивать, и чулки еще были. Мы бежали, вспрыгивая на тумбы, а Драп лихо гикал и напевал свою песенку:

Эх, шильце в руках,
Щетинка в зубах,
Сам при хвартуке!

По дороге завернули на колокольню и позвонили. Заплатил за нас Драп сторожу пятак. Милый Драп! Он любил угощать на свои скудные пятаки. Он купил на уголку у старушки пяток луковых яиц, дал нам по яичку, а пятое спрятал про запас. Тут же мы их и съели, кокнув о тумбочку.

На мосту, помню, остановились «покупать шары». Они так ярко сквозили на солнце, красные, синие, шуршали бочками, и пахло от них радостным праздником, чем-то неуловимым, что и теперь еще напоминает весну, синее небо и балаганы под Девичьим. «Покупал» шар Васька. Он торговался долго, мальчишка-торговец оторвал наконец самый маленький, взял за ниточку в зубы, чтобы подвязать подлинней, но тут Драп сделал, как и раньше

частенько, свою «штуку» — накрепко ущипнул мальчишку, тот вскрикнул, а освободившийся красный шар понесся в простор, становясь все меньше и меньше. И стал как клюковка.

И мы тоже понеслись в пространство!

Дорога была дальняя. Кузнечонок вел нас проходными дворами, где играли шарманки, задирали мальчишки, пугали метлами дворники. И веселый же был этот бег под перезвон с колоколен, мимо цветных гроздей шаров, мимо лавчонок, в окошках которых празднично висели сахарные яички, мимо лотков с красными и розовыми грудами пряников, мимо ящичков на колесах с соломкой, на которой были навалены горки красных и лиловых яиц, на которых играло солнце! Оно и с нами играло. Драп ржал, как жеребенок, подкидывая черными пятками, подпрыгивал и срывал зазеленевшие ветви, свесившиеся из-за заборов. Пахло теплой навозной пылью. Во дворах обдавало приятным холодком от залежавшегося в тени синеватого крупчатого снега, по которому обязательно пробегали Драп с Васькой, выдавливая следки. С этих снеговых холмиков кое-где мальчишки катали красные яйца. Пасха, милая, далекая Пасха! красные скорлупки, по-особенному радостные, лотки с апельсинами, треск пистолетиков, гнусавый писк жестяных дудок, пиликающие гармонии приодевшихся и уже захмелевших мастеровых! Чудесно! Праздник!

В каком-то большом дворе, помню, лежали огромные рыжие котлы. Мы влезли в них и погукали, и Драп сказал, что в таких котлах черти на том свете кипятят грешников. Он все знал! Скоро шмыгнул в ворота и объявил нам пугливым шепотом, что здесь-то и живут портные.

— Вот она, музыка-то, играет!

Доносило трубы и барабан, совсем как на гулянье, где

балаганы. Во дворе у забора густо росла бузина, а за бузиной возились мальчишки, как воробьи. Они набегали во двор и пропадали за бузиной, словно проваливались сквозь землю. Стоял под бузиной взъерошенный человек в красной рубаше, без пояса, с красными опухшими глазами, босой, и держал картуз. Мальчишки кидали ему в картуз копейки и ныряли за бузину. Кузнечонок замялся, заежился, но Драп сказал:

— Смотри, Копченый, ежели ты наду-ул!..

Кузнечонок перекрестился и юркнул в какой-то подвал. Скоро он оттуда выскочил, как пробка из пистолета, запрыгал на ножке и забожился. За ним тяжело выбрался хромой старик с завязанным глазом.

— Да ей-богу, дяденька Василий... да отсохни глаза, лопни руки... свои земляки, с нашего двора! — кричал Кузнечонок, прыгая бесом.

Хромой пригляделся к нам одним глазом, словно пырлял, дал для чего-то Копченому подзатыльник и сказал взъерошенному человеку под бузиной:

— Пропусти так, земляки мои... У, чертенята!

Тут он заухал, словно на зайцев, и еще закатил Копченому подзатыльник.

— Не буди до времени!

Тут мы поняли, что портные дело наладили ловко: проделали в заборе дыру в сад, — соседи были с садом, — и пропускали за пятаки желающих. Потом Кузнечонок рассказал, что и садовый сторож, гулявший за забором, все это знает и даже считает на бумажке, сколько прошло от портных.

— Лезь, мразь! — крикнул взъерошенный, у которого в картузе было порядочно медяков, мы проскочили в дыру, а за нами раздался голос взъерошенного:

— Наши это, землячки!

— Ладно — сказал сторож с медным кружком на груди. — Больно у вас земляков много!

IV

Да, это был сад, новый сад. Я уже знал его, но бывал зимой. А теперь дорожки были желтенькие, зеленела трава, сверкал пруд, деревья тронулись в зелень, а за проволочными сетками шустро перепархивали птицы. Всюду развевались сине-красные флаги, и важно колыхались груды цветных шаров. По дорожкам гуляли господа, чистая публика, и прилично попрыгивали дети в красных и синих шапочках и чистеньких пальтецах с якорьками. Драп было заробел и заметался, — уж очень чуден он был в своем сюртуке до пяток, — но тут встретилась нам кучка мальчишек даже без картузов, и Драп храбро сказал:

— К слонам пойдем!

Он еще у забора надел свои опорки, которые поминутно сваливались, и все запахивал сюртук, чтобы не видно было его красной рубахи. Васька засунул руки в карманы пиджака и ходил важно и с таким скрипом, что дети показывали пальцами. Кузнечонок и совсем ничего не боялся, даже толкнул какого-то гимназиста, мешавшего ему смотреть на белку. Я... но я был ничего себе, совсем как настоящая публика, только без шляпы.

Мы обежали весь сад и на берегу пруда, перед беседкой в виде огромной раковины, где сидели солдаты-музыканты с ясными трубами, увидали большой-большой, величиной с дом, желтоватый, будто прозрачный шар. Он покачивался слегка, придерживаемый толстыми канатами. Обычной корзины не было. Вместо нее висела трапеция — палка на двух веревках. К шару нас не пустил солдат, погрозил. Барин, державший на руке девочку в белой шляпке, спросил солдата, скоро ли полетит.

— В пять часов, не скоро, — сказал солдат.

Оставалось еще часа четыре. Раненько мы забрались! Пошли глазеть на зверей.

У медведей, за железными прутьями, Драп еще прокутил пятак: купил ситничек и ткнул самому крупному бурому медведю под язык, на белые мокрые зубы. Тут и я тронул бумажный рублик. Потом мы с Драпом пожертвовали по пятаку белому медведю, мотавшемуся на мягких желтых лапах по скользкому порожку, у грязной воды. Кузнечонок с Васькой взяли у меня «взаимы» по гривенничку, и пришлось дать, хоть и знал я, что отдадут они на том свете угольками. Потом пошли обезьяны, от которых воняло так, что даже Драп зажал нос, но Кузнечонок ухитрился-таки вырвать у обезьянки сочную морковку из лапки и съел с Васькой.

— Обеи вы дураки!— сказал Драп.— Идем к филинам!

Филин дремал на камнях и только приподымал веки, а не вылезал. Драп знал филинов и сказал нам, что это не настоящие, а так: настоящие филины кричат. Тут они с Васькой выломали из куста толстый прут, всунули за решетку и столкнули филина с камня. Он свалился, как пакля, подергал крыльями, постучал клювом со злости и опять убрался. Да, это был не настоящий: даже и тут не кричал. Зато закричал Драп, когда какой-то старик в очках ухватил его за ухо и рванул.

— Я тебе попугаю!

Уже бежал сторож от пруда, но мы перемахнули лужком и затерялись в толпе. К слонам!

V

В огромном сарае было очень жарко и пахло слонами. Так и сказал Драп. За рельсовыми перилами стояли два слона, прикованные за толстые серые ноги цепями. Они

погромыхивали этими цепями и все кланялись, помахивая ушами и хоботами. А то принимались покачиваться, словно качали воду. Я слонов знал, но знал их и Кузнечонок, который перекувырнулся на рельсовой перекладине, чтобы показать нам, что он тут как дома. Но Драп с Васькой притихли и, видимо, были поражены. Особенно Драп. Он не отрываясь смотрел, как слоны вытягивали хоботы и брали ситнички. Загибали их кверху, словно хотели закинуть к потолку, и, закрывив хобот, засовывали ситнички в узкий розовый рот под клыками; потом сладко жевали, помахивая грузными хоботами, покачивали ими, словно хотели вот-вот размахнуться. Драп смотрел, зачарованный, и все повторял:

— Как жрут-то!

А слоны глотали и глотали ситнички, словно работали машины. Драп выставился вперед, положил подбородок на перильца и все смотрел. Мы уже нагляделись, Васька тянул идти дальше, к тиграм, — тигры людей едят! — но Драп и не шевельнулся. Что его поразило в слонах — так и не сказал он, но потом всегда говорил, когда вспоминал о саде:

— Как жрут-то!

Может быть, потому так говорил, что всегда хотел есть и всегда голодал. Он порылся в карманах. Оставался последний пятак от праздничных пятаков заказчиков. Он тронул за рукав старика сторожа и сказал жалобно:

— Ну, последний прожертвую!

Сторож дал ему ситник. Драп показал ситник слону, тот потянулся хоботом, но Драп не дал. Тогда слон поклонился Драпу: ну, дай! Тут Драп уже не смог продлить своего удовольствия, отдал ситник и с разинутым ртом смотрел, как и его ситник пропал под хоботом. Слон потянулся хоботом к Драпу, сдернул с него картуз, и... Драп крикнул, словно его ущипнули:

— Ай!!

Новый картуз, купленный за три гривенника, понесся под потолок, покрутился там и погрузился в пасть... Драп пронзительно вскрикнул. Но это только показалось, что в пасть, а просто слон пошутил, будто все знал про Драпа; как он гордился своим картузом, купленным на пятаки заказчиков. Он только попугал, посмеялся и ловким взмахом, играючи, положил Драпу картуз на вихрастую голову. Вот так торжество было! Драп запрыгал и лихо оглянул всех. И не успел хорошенько оглянуть, как слон снова протянул хобот, Драп уже выставил голову, чтобы опять прогулялся его картуз, но... слон только скользнул хоботом по Драповой роже, облизал мокрым кончиком, будто даже пощекотал Драпа под подбородком, — Драп так и говорил, что «здорово пощекотал, как теркой!» — и поклонился. И тут все поняли, что понравился Драп слону.

— А это ты ему, значит, ндрависься... — сказал сторож Драпу.

Ваське стало досадно. Они с Кузнечонком натравливали слона на свои картузы, почмокивали и свистали, но дело не выгорало. А Драп пустился на шаривать по своим карманам, — не завалилось ли там чего. Вынул бабку-свинчатку, моток ниток, кусок вара, гайку. И вдруг в заднем кармане своего сюртука нащупал спрятанное про запас луковое яичко. И показал слону: на! Слон нерешительно потянул хоботом, — должно быть, никогда не видал яичка, — не камень ли? Обнюхал и осторожно прихватил с черной ладони Драпа неожиданный дар. Опять понес высоко-высоко, повертел под потолком, словно показывал всем, какая у него штучка, загнул хобот, направил яичко в пасть и... задумался. О чем он задумался? Думал ли он, что Драп — ведь слоны умные — просто хочет сшутить с ним шутку и дал ему камушек,

или — кто знает! — может быть, пожалел Драпа, но только опять покачался, словно в глубокой думе, развернул хобот и протянул Драпу яичко — возьми! Но Драп не взял. Он даже помотал головой и убрал руки за спину. Тогда слон поклонялся, опять покачался, пофыркал даже, словно хотел сказать что-то, — ведь слоны умные! — и тихо-тихо положил яичко на рельсовые перильца. И оно осталось лежать! Оно осталось лежать на покатых перильцах. Это действительно было чудо! Все смотрели, как лежало яичко, словно приклеенное.

— Не желает твоего яичка, — сказал сторож.

Но Драп яичка не взял.

— Пусть съест, все одно... — стал твердить он, пряча за спиной руки.

Тут слон будто понял. Он взял яичко и тихо постучал им по рельсе. Оно слабо треснуло и осталось лежать. Это всем страшно понравилось. Публика надвинулась на нас, разглядывала Драпа. Какой-то парень хлопнул Драпа картузом по плечу и крикнул:

— Сам трескай, больше ничего. Слон не опоганит!

Тут Драп проснулся, облупил яичко, скусил половинку и другую протянул слону. Слон взял и съел.

— Разговелся! — крикнул мастеровой, и все засмеялись.

Пора было идти дальше, но Драп не двигался, как мы его ни толкали с Васькой. Кузнечонок вертелся на рельсе и совал слону грязные пятки на потеху публике, — Драп и на это не обращал внимания. Он дернул меня за руку и сказал жалобно:

— Здесь бы остаться... со слоном... Кормили бы его...

Это было бы хорошо! Под крышей перелетали голуби, воробьи мышами шмыгали на сене, в углу. И такое веселое солнце было в этом гулком сарае, с окошками

наверху. Сюда не придет Прохор, не шваркнет колодкой и не пообещает отмотать Драпу голову. Хорошо спать на сене... Вытянет слон хобот, пощекочет за вихры, как это он сейчас сделал. Да, понравилась ему Драпова голова. А что? Не почувял ли он невеселую жизнь Драпа?! Может быть, плешинки на Драповой голове что-нибудь сказали ему? Кто знает... Может быть, в серых грустных глазах Драпа было что-то особенное, что понял огромный слон, много выдавший, потерявший свою свободу. Ведь и Драп был в неволе...

И долго потом вспоминал Драп слона. Бывало, сидим на крыше, чикаем змеи. Небо над нами высоко-высоко, ласточки в нем играют, дрожит нитка чужого змея, трещит «посланник» на ниточке; Драп смотрит-смотрит да вдруг и скажет:

— Эх, слона бы теперь повидать!..

Слоны... Драп все заборы, все сараи исчертил во дворе «слонами». Выпросил у меня «звериную» книжку, где был нарисован слон, и все срисовывал, чтобы выходило лучше. И достиг! Таких слонов рисовал и углем и мелом, что даже дворник Гришка попросил его «начертить про слона» на стенке его сторожки, возле ворот. И начертил же Драп! Этот слон, во всю стенку, даже смеялся, а хобот его шел винтом, как тогда, с яичком. Так и нарисовал с яичком, только яичко вышло величиной с арбуз.

Драп занял у Кузнечонка пару пятаков — Копченный носил их во рту, как в кошельке, — стравил на ситнички для слона, задолжал мне еще двугривенный, потом еще и еще, обещая отплатить голубями, и даже обругал нас с Васькой, что мы не даем больше. Он до того надоел сторожу с приставаньем — откуда слон и сколько он стоит, и сколько ему годов, — что сторож плюнул.

— Да уйди ты, смола! Ну, чего тебе нужно? Украсть, что ль, его хочешь?

Когда вышли мы из слоновника, Драп широко разинул рот, словно собирался глотать что-то очень вкусное, поморгал и сказал так необыкновенно, что меня даже удивило, какой Драп стал добрый:

— Эх, Колька! Слон, прямо... по-братски!..

VI

Пора было идти к французу. Мы послушались по домикам и клеткам, — Васька выщипнул у белки пучок волосков, на память, — и попали на большую площадку, где было много столиков. Тут сидели богатые господа и кушали. Им приносили на столики лакеи во фраках и с салфетками на плече всякие вещи в серебряных кастрюльках и лодочках, и так хорошо пахло жареным и пирожками. Играла и здесь музыка, а господа слушали и кушали. Нам страшно хотелось есть. Васька так и шмыгал между столиками, заглядывая в рот и в тарелки. И Кузнечонок. А Драп остановился возле толстого господина, в цилиндре, и жадно смотрел, как тот грыз и обсасывал косточку. Перед господином стояла жареная курица с воткнутой в нее вилкой. Смотрел, словно говорил:

— Дяденька, дай!

И таки добился. Господин протянул Драпу вилку и сказал строго:

— Ну, проходи, проходи!

Кузнечонок вертелся около двух белых барынь, которые ели целую грудку красных раков и запивали из стаканчиков.

— Мальчик, тебе г'аков хочется? — картаво спросила одна из барынь.

Васька заорал: «Гаков, гаков!» — и завертелся на пожке. Погнал его лакей салфеткой. Мы долго крутились у столиков — уж очень хорошо пахло, а у нас вышли все пары и донимал голод. Стали укорять Драпа: пожертвовал все слону! Пахло рябчиками, — знал я этот чудесный запах! — а Драп уверял, глотая слюни, что это наваристыми щами. Васька говорил, что бараниной, а Кузнечонок, у которого началась икота, с визгом божился, что это пахнет кашей из поросенка.

И я забыл правило — не глядеть в рот. Помню, как одна барыня с красными девочками, кушая ветчину с пирожками, укоризненно покачала головой и сказала:

— Мальчик, а ведь неприлично глядеть в рот.

Так меня и ошпарило, хоть провалиться. Но тут Васька до того озлился, что ему хочется есть, что стал на голову и прошелся между столами, корячась в воздухе сапогами, от которых несло дегтем. Барыни повскакали, боясь, что сапоги попадут к ним в тарелки, и стали звать лакея. Тут наконец нас выгнали салфетками, а какой-то толстяк во фраке пообещал нарвать уши.

Но тут вдруг зашумели голоса — шар летит! И мы кинулись, забыв голод.

VII

На широкой площадке теперь была гибель народу. Стояли на скамейках, напирали к шару. Музыканты трубили в ясные трубы. Шар важно покачивался на своих веревках. Васька согнулся и юркнул между ногами вперед, за ним полезли Кузнечонок, и Драп, и я, боясь затеряться в толпе. Нас нажимали коленями и ругали,

но мы в один миг вырвались к кругу, где было свободно. Шумели голоса:

— Француз! Француз!

Что-то праздничное было во всем. Обширная площадка, посыпанная желто-красным песком, была оцеплена тысячами народу, а шар в этом кругу был словно пойманный — не уйдешь!

— Француз! Француз идет!

И мы вдруг увидали этого удивительного француза. Он появился из домика возле музыкантов, похожего на избушку, в удивительном костюме. Васька даже крикнул:

— Го-лый!

Конечно, француз был не голый, — что мог знать Васька! — а как акробат из цирка. Он был в розоватом трико, обтягивавшем его стройное тело. На груди и на поясе сверкали, как драгоценные камни, цветной бисер-хрусталики, — зеленый, золотой, всякий. Руки были совсем голые и с такими наростами мускулов, что все так и зашумели:

— Ну и здоров француз!

Очень красив был этот француз, — курчавый, чернобровый, с густыми черными усами и розовыми щеками. Он остановился на порожке беседки и послал всем нам воздушный поцелуй — вот так. Все закричали «ура!».

А француз поклонился, приложил руки к груди, и весь засверкал дрогнувшим бисером. Драп потом говорил: «Весь в огнях!»

Подпрыгивая, как цирковой наездник, француз подбежал к шару, приложил кончики пальцев ко рту и развел руками: опять послал поцелуй и поклонился. Тут Васька заорал первый:

— Урра-а!!

Не мог удержаться, встал на голову и подрыгал ногами. Кругом пошел смех. Кто-то прихватил Ваську за ноги и подергал. Даже француз заметил и посмеялся. Он даже послал нам — я это отлично заметил — особенный поцелуй. Драп потом спорил, что это ему послал: смотрел прямо на него; но Кузнечонок божился, что ему: француз будто бы прищурился и погрозил ему пальцем. Васька считал, что ему за то, что он прошелся на голове. Что бы там ни было, но мы таки получили поцелуй от француза. Потом француз взял сигару у господина в цилиндре и в перчатках, с красным галстуком, у того самого, который ел курицу, покурил наскоро, разглядывая публику, и все щурился. Хорошо он курил. Затянет-ся скоро-скоро и выпустит в ноздри.

— Напоследок накуривается! — сказал кто-то. — То жив-жив, а то и... вдребезги!

Кузнечонок шипел мне в ухо:

— Обязательно расшибется, ей-богу!

Драп толкнул меня, сделал страшные глаза, мотнул на француза и прохрипел:

— Ввот!

Хотел ли он сказать этим, что вот, мол, скоро расшибется француз, или хотел выразить свой восторг отчаянной храбростью, — не знаю. У меня колотилось сердце за француза. Даже присмирел и Васька. Сказал только:

— Курит-то как отчаянно!

Француз курил наскоро, частыми затяжками, поглядывая на сигару, и как будто думал о чем-то. Может быть, о своей судьбе. Поглядывал на небо — высоко, черт возьми! Подрагивали на солнце его хрусталики. Может быть, слегка и дрожал француз... Кто-то вытолкнул Драпа вперед и крикнул:

— Чего глядишь-то, лети!

Драп съежился и подался назад. Да, страшно было. Кто-то детским голоском плакал, должно быть, тоже боялся: «Мама-а...» Только музыканты не боялись. Они так трубили и гремели, словно хотели всех развеселить и подбодрить француза. А тут господин в цилиндре, ковыривший перышком в зубах, махнул рукой, — и к шару явился лакей с подносыком, и на подносыке был стаканчик с чем-то золотистым.

— Лекарство ему дают! — сказал кучер с подрубленными волосами, в синей безрукавке. — Значит, чтобы покрепше был. Дорожка тоже дальняя.

— Еще куда попадет! На том свете-то этого не попробуешь, да.

Француз взял стаканчик и опрокинул в рот. Усмехнулся, вытер усы поданным ему красным платочком, потрянул головой, словно хотел сказать: погибать так погибать! — хлопнул в ладоши, подвигал руками, чтобы вольней было, и, запрокинув голову, поглядел в небо, будто примеривал — высоко ли. Поглядели и мы. Вы-соко! Пущенный кем-то красный шар казался клюковкой в синей бездонной дали. Голова кружилась.

— Пускают! — закричали голоса.

VIII

Да, отпускали шар. Господин в цилиндре, помахивая тросточкой с зажатым в руке розовым платочком, указывал десятку солдат, как надо отпускать шар. Те вертели что-то руками, разматывали с валиков канаты, на которых покачивался палевый шар-дом. Француз молодецки крикнул: «Алло!» — подпрыгнул и опять хлопнул в ладошки, и подпрыгнул на нем шумящий, сверкающий пояс с висюльками. Стало жутко. Я уже влюбился во француза, в его курчавую голову, в его розоватые ноги,

в его отвагу. Драп выставился вперед и, слышалось мне, постукивал зубами. Только Кузнечонок все повторял: «Расшибется, ей-богу, расшибется!»

— А ты, дурак, молчи! Этим не шути!— сказал кучер.— Жалеть надо человека, а он...

— Матушки!— закричал кто-то пронзительно.— Вскочил, никак!

Француз подпрыгнул, схватился за трапецию под шаром, раскачался и, ловко перевернувшись вниз головой, сразу сел на трапецию. Сел и опять послал поцелуй.

— Ну, могуч!— сказал кучер.— Что за отчанный! беда...

Да, француз ничего не боялся. Даже принялся раскачиваться, словно это ему одно удовольствие. Покачивался и покачивался под музыку, а шар подымался и подымался на канатах толчками. Был он теперь порядочно от земли: упади — разобьешься. Господин в цилиндре глядел на француза, задрав голову, и что-то кричал не по-нашему. Француз подергал за веревочку от какой-то кишки сбоку от шара. Эта-то кишка и был тот зонтик, на котором он должен был швырнуться на землю,— сложенный и смятый, как повисшая серая тряпка.

— Стой!— крикнул господин солдатам.

— Ну, ежели у его голова закружится...— пугающим голосом сказал кучер.— Шабаш тогда!

Нет, у француза голова не кружилась. Он весело крикнул: «Адье!»— плюнул даже,— и Васька видел, и Кузнечонок,— махнул красным платочком, и... я подумал, что он свалился. Но это нарочно он, чтобы попугать. Он вдруг соскользнул с трапеции, словно падал, ухватился одной рукой за палку трапеции и повис в воздухе. Мало того! Чтобы еще сильнее удивить и напугать, он подтянулся, вцепился зубами в палку, да так и

повис, покачиваясь. Так все и завывали вниз, а Кузнецочок завизжал:

— Нет, не расшибется!

В этот жуткий момент господин в цилиндре крикнул: «Пускаты!» — шар рванулся, хлестнули по воздуху четыре конца веревок, и шар с французом потянул вверх и вбок, за музыкантскую беседку. Концом веревки хлестнуло по крыше беседки, — и пошел шар выше и выше, подгоняемый загремевшими литаврами и еще громче зазвеневшими трубами. Мы задирали головы и колыхнулись с толпой, куда-то бежавшей. Но не надо было бежать: шар был хорошо виден. Француз уже сидел на трапеции и обеими руками, ничуть не держась, посылал нам воздушные поцелуи. И вдруг уронил платочек. Как красная птичка поплавал платочек в воздухе и плавно опустился на свеженькую березку. Какие-то мальчишки уже полезли за ним, стаскивая друг дружку. Уже не помню, что было дальше. Мы были в небе! Француз выламывался под шаром и теперь казался маленьким мальчиком. Шар становился не больше куля с овсом, потом вдруг...

Первым заверещал Драп. Он так заверещал, словно ему свернули голову:

— Швырнулся!!!

Швырнулся француз. Это был один миг: вдруг перекувырнулся шар, рванулся в сторону и завертелся волчком — легко ему стало. А француз канул с него камнем — черкнуло в воздухе. Десятки красных и синих шаров, пущенных как привет французам, мелькали в глазах и путались, но все же француза стало видней. Он как будто тише падал теперь и вдруг остановился, стал длинным-длинным, вытягивался на наших глазах, и... над ним вырос широкий красивый зонтик. Это раскрылся над ним парашют, с протянутыми к французам веревоч-

ками, захватил воздуху, раздулся и стал медленно опускаться. Очень медленно, как опускается пущенный с крыши дома издыхающий детский шар. Француз был теперь хорошо виден. Вытянув руки и ноги, он падал стрелкой, как длинный гвоздь; мелькнул за крестами дальней церкви, за садом и провалился. Думали мы, что это близко совсем, тут же за садом где-то. Но скоро господин в цилиндре собрал на круг публику и сообщил нам, что отважный француз совершенно благополучно сел на Ходынском поле и скоро явится приветствовать почтеннейшую публику. Закричал «ура», и все закричали. А шар... шар теперь был хорошо виден. Он что-то похудел, словно из него выпустили газ, и, пошатываясь, опускался тряпкой.

Только теперь я почувствовал, как у меня ослабели ноги, — должно быть, от страха за француза. Да и все ослабли. Драп сидел на травке и скреб в голове: Васья лежал на брюхе и спорил с Кузнечонком, который уверял, что тут просто жульничество, что это просто отвели всем глаза и пустили такую-этакую куклу... под француза. А настоящий француз соскочил, дескать, за беседкой и прячется в избушке. Драп до того озлился, что схватил Кузнечонка за ногу и так дернул, что чуть не оторвал ногу. Тогда Кузнечонок признал, что он просто наврал, чтобы было смешно.

— Дурак, — сказал Драп. — А француз молодчина!

Скоро пришло известие, что француз наскочил на дерево, когда опускался, и распорол себе бок. Потом заговорила публика, что француза привезли на извозчике замертво и он так устал, что насилу ноги волочит. Потом появился господин в цилиндре, что-то жевавший, опять прикнул «ура!» и вывел за руку француза из избушки. Вывел и стал раскланиваться, словно он-то вот и летал. Француз раскланивался, прижимал руку к

сердцу, но уже не посылал поцелуев. Он казался страшно усталым и был бледен как смерть. Он все поджимал ноги и дрожал хрустальными — вот-вот упадет, словно его били по ногам, а глаза его были белые, как у вареной рыбы. Кто-то сказал:

— Не долго и помереть так-то. Ишь как его вывернуло! Да, бедность чего не заставит вытворять... Есть которые сабли глотают.

И уже совсем другим, не героем, представился мне француз этот. Бедность! И эти блестящие стекляшки — бедность. И эти поцелуи — все та же бедность. Этот вон толстый господин не полетит, — ему и на земле хо-рошо.

— Еще раз — ура храбрецу! — прокричал господин и потер руки.

Драп сказал:

— Эх, лучше бы и мне летать, чем в сапожниках! По крайней мере уж либо голову сломил, либо...

Да так и не досказал, что еще — либо.

А уж наступил вечер, давно пора было возвращаться домой. Вот тут-то и начало сосать сердце. Помню, собрались мы у медведей, к слонам уже не пускали, поздно. Драп предложил было идти на Москву-реку и там заночевать на плотках, а то Прохор насмерть будет лупить.

Даже звал и совсем остаться на реке, ловить рыбу и голубей и торговать для пропитания. Васька соглашался только ночевать, а то можно помереть с голоду. Кузнечонку было все равно, хоть на шаре лететь. Он стал божиться, что хозяин лупит его калеными железными прутьями: раскалит добела и лупит. Кузнечонку без порки не обойтись, — это все понимали: все еще в лавочку за луком бегают с самого утра, а уж и ночь на дворе, уж и фонарики зажигаются. Ужасно

хотелось есть. Стали, на меня глядя, нить и Васька с Кузнечонком: страшно идти домой, а надо. Тогда Драп выправил грудь, стукнул в нее кулаком и крикнул:

— Черти вы, черти! Меня больше всех лупить будут, а не боюсь! Француз смерти не боится, и я не боюсь! Двум смертям не бывать...

Это всех ободрило. По дороге пугнули на прощанье филина с камней, и он заверещал так, что стал настоящим. Драп наконец-то признал его за настоящего. Вышли уже через вход, теперь сиявший белыми фонариками-кубастиками, под музыку. Потом страшно далекий путь, ночные улицы, ужасные камни, набившие ноги до волдырей. Потом расплата. Но самое важное... А вот.

IX

Помню веселый перезвон на колокольнях... Был последний день Пасхи, суббота. Помню, принесла монашка освященный артос, кусочек огромного пшеничного хлеба, что лежит всю Пасху на аналое в церкви, а в субботу раздается как святой хлеб. Я сидел узником в детской, на ключе. Мне принесли стакан молока и ломоть хлеба. И вот монашка принесла мне кусочек артоса, — «на радость и на здоровье». Какая радость? Радость, что меня заперли, что сняли с меня башмаки, чтобы я не убежал как-нибудь в окошко? Нечего сказать — радость! Наступил вечер. Но я был не один в запертой комнатке. Со мной было то, чего нельзя ничем запереть, чего нельзя отнять — мои думы, мои мечты. Со мной, в моих грезах, был чудесный француз, его звонкие хрустали, его воздушные поцелуи, трапеция и шар в синеве неба. Я летел вместе с ним, летел в бездонность, где воль-

ная воля, где играют звезды. Вот они, звезды. Они заглядывают и ко мне в темницу через молоденькие душистые листочки старого тополя под окном. Хорошо бы туда, в темно-синий простор, где нет этих скучных часов, отмеривающих своим скрипучим маятником медленное время; где нет насмешника — Гришки, который называет меня «рестантом» и уверяет, разговаривая со мной в окошко, что Драпу Прохор «всю голову отмотал напрочь»; где нет этого надоевшего двора, такого будничного теперь, после волшебного дня, проведенного в сказочном саду, где француз-герой швыряется камнем с неба, где живет умный слон, где звери из дальних стран. Где необычная жизнь, где все другое.

Я знаю, от того же Гришки, что ему велено нарезать прутьев, свежих березовых прутьев, которые так чудесно пахнут. Может быть, он нарочно это сказал, чтобы помучить? За что же еще-то наказывать?! Ведь уже другой день я на ключе и босой. Я уже знаю от Гришки, что Кузнечонка на улице не видно, — может быть, уж и помер от «каленых прутьев», — что Васька «сидеть не может», так его отшпандорили. И мне сказано строго, что теперь кончена моя беготня с уличными мальчишками, что нет теперь для меня двора, а сапожников с нашего двора заставят съехать, чтобы они меня не портили. Это ужасно. Это такие мои друзья, без которых и жизнь мне не в жизнь. Портят меня!.. Чем же они меня портят? Я думаю и думаю уже целый день об этом. Драп... Но я не знаю никого лучше Драпа. Пусть ни Васьки не будет, ни этого плута Кузнечонка, который унес у меня этой зимой бархатные саночки с бахромой и заплатил мне за них чугунную бабку и три копейки. Но Драп... с ним мы могли бы уйти куда-нибудь далеко-далеко... Сколько раз он манил меня на Воробьевы горы, в далекий путь... Там где-то, верст за сто, а может быть, и за

тысячу, — его Бронницы, его деревня, где ловят прямо руками огромных раков, где сена столько, что не уложить в наши сараи, а зимой такие горы снега, что сани катятся целый час. Там, в его лесах, живут волки, всякие, злые и добрые, про которых он мне рассказывал много-много. Там целые поля сладкого гороху, огурцов сколько хочешь, а грибов и брусники столько, что не унесешь. Там ночью пасутся лошади, и Драп сторожит их у огонька, на речке. Там можно всю ночь печь в горячей золе картошку, и есть напролет всю ночь. Там сороки трещат на каких-то ригах. И там не бьют по голове колодкой, и никто его не шпыняет там. Только теперь изба у него забита, мать померла, а всех их, пятерых братьев, роздали в люди, — в сапожники и по трактирам в мальчишки.

Хорошо бы... Если бы там жила его мать, мы бы ушли. Я бы стал помогать ему возить дрова из лесу, молотить, косить... И не надо бы учить, как Авраам сидел у дуба, а звук Е пишется вот так, а говорится вот так.

— Колька... — неожиданно позвал меня голос Драпа. Драп!! Я подбежал к окну и увидел Драпа. Он сидел на тополе, едва видный в темноте вечера.

— Сидишь, Колька?

— Сижу... А тебя лупил Прохор?

— Наплевать, — говорит Драп дрогнувшим голосом. — Потерплю еще малость, а то убегу. А тот француз далеко живет?

— Не знаю. А что?

— К нему бы уйти... А то заколотят все равно. Знаешь что, я одну штуковинку придумал...

Он говорит шепотком, шипит, и я чувствую, что «штуковинка», которую Драп придумал, необыкновенное что-нибудь. Может быть, он такое придумал... может быть, хочет убежать в деревню?..

— Драп, голубчик, иди ко мне... я тебе доску положу гладильную...

— Нет, ты лучше иди ко мне, а то еще накроют меня у тебя — тогда мне смерть. Лезь сюда, я тебе лепешечки дам. Земляк из деревни привез, угостил.

О, я знаю эти чудесные черные лепешечки, с соломинками, с зернышками овса и с дырочками, похожие на пряник. А мне так хочется есть. Я мигом всовываю через окно на тополь гладильную доску. Драп подхватывает ее и кладет концом между суком и деревом. Теперь можно и перемахнуть. Доска лежит прочно на подоконнике и в тополе. Я делаю шаг, доска колышется, а до земли высоко, можно разбиться.

— Иди же! — шипит Драп. — Э, трусишка... барин, кошку жарил!

— Я боюсь, Драпик... насмерть ведь...

— А француз-то! — говорит лихо Драп. — Гляди, на!

Он лезет на доску и шагает ко мне. Тополь дрожит, кончик доски постукивает на подоконнике, но Драп идет смело. На середине спускает ноги и даже подпрыгивает сидя.

— Ничего не боюсь, плевать!

Я лезу к нему на коленках, он подбодряет и отодвигается. Совсем не страшно! Внизу журчат растревоженные куры в курятнике. Я уже на тополе. Драп дружески обхватывает меня, и слышу я, как пахнет им, самым настоящим Драпом, — сапогами, варом и чем-то едким. Мы сидим в тополе, на суку.

— А что, — говорит Драп мечтательно, — слоны далеко живут?

— Далеко. Они живут... за морями, где горячая Африка.

— Да, далеко. А француз оттуда?

— Француз... Он тоже далеко... Француз из Франции.

— Может, врешь ты все? А француз где — там слоны есть?

Я не знаю, но мне вдруг приходит в голову, что обрадуется Драп, и я говорю:

— Там и французы бывают. Робинзон Крузо... Я тебе дам книжку. И попугаи там...

— Знаю я попугаев. Это которые билеты вытаскивают. Верно. Ходит по дворам у нас черномазый мальчишка с зеленым попугаем и дает за три копейки выдернутый попугаем билет «на счастье».

— Попробуй-ка, — говорит Драп, — какая у меня шишка на башке. Всю голову разломило, кружится...

Я пробую, но в темноте не видно. Я шарю по вихрастой голове, Драп берет мою руку и направляет. Вот. О, какая шишка, с кулак!

— Наплевать! — говорит Драп отчаянно. — Все равно, в воскресенье, завтра, опять убегу туда. Все равно. Встану завтра чем свет, наловлю голубей десятка три, стащу к Розенбергу в аптеку... А что, не возьмут меня к зверям служить? Обучили бы со зверями заниматься, стал бы как работать! А что, Франция эта далеко? пешком дойти можно?

Не знаю я, но кажется мне, с этого тополя, теперь все далеким.

— Далеко, Драп... тыщи верст! Не дойти пешком.

— Эх... — вздыхает Драп. — Да, не дойти. А Кузнечонка хозяин в погребу на целную ночь запер.

— А что у тебя за штуковинка? говорил-то?

— Только, слышь, не сказывай никому, — шипит Драп. — Я обязательно полечу, стараться буду. У скорнячихи зонт огромный есть, на погребнице лежит... на рынок она его для торгу берет всегда...

— Это белый-то? Да, замечательный! — говорю я и начинаю понимать штуковинку.

— Белый. С таким зонтом не пропадешь... можно сколько хочешь полететь. Завтра залезу на амбар и полечу, а потом и с вашего верху, с самой крыши... Ежели с третьего яруса слечу лихо, тогда с чего хочешь тебе слечу! Потом с Казанской колокольни попробую... Хочешь, и тебе могу дать?

— А страшно-то!

— Дурак, страшно! Тот-то эн с какой высочищи летает! А что, у французов сапожники есть? Ну, ты узнай поверней.

— А чего?

— А не сфискалишь? Ну, вот что. Может, я... ты только не сказывай... я еще, может, убегу... все равно мне не жить здесь. До меня вон Алешка жил, ему Прохор руку перешиб и печенки отбил колодкой. Захирел-захирел и помер в деревне. Убегу!

Мне становится страшно. Что будет, если уйдет Драп? Тогда все пропало. Меня охватывает такая тоска, такая боль щемит сердце, что я хватаю за руку Драпа, в горле у меня режет, глаза жжет, и я не могу выговорить слова.

— Не убегай, Драп... милый... мы лучше... вместе уйдем... У меня в копилке три рублика есть... Папаша помер... все равно...

— Нет, тебе никак нельзя...— говорит Драп.— У вас дом большой, лошади, все богатство. А я голый, сам себе голова. Буду идти, идти... по разным дорогам, по лесам... странники разные так идут... а то, может, на разбойников наскочу, они к себе возьмут. Есть добрые разбойники. Дойду до Серги-Троицы... А то к цыганам попрошусь, по дорогам буду ездить с ними, кур воровать. Все равно, наплевать! Только вот писать не умею...

— А тебе зачем... писать?

— А то как! Зайду далеко, а как тебе письмо написать? У меня, может, деньги где отколются, клад найду? Тогда мы здорово бы...

— Тогда можно корабль купить!— говорю я.— Накупить товаров — и к черным народам, к ефиопам поехать, к туркам...

Так мы мечтаем долго-долго. Уже совсем ночь. Уже давно слышим мы окрик жены Прохора:

— Драп, лешман! Куда тебя запропастило, чертенька? Лохань выносить ступай!

— Дался я им!— злобно говорит Драп.— Колодками кормят, черти... Есть не дают. Ни ужинал, ни обедал. Только лепешки ел — земляк угостил. На лепешечки, есть у меня кусочек...

Он достает из пазухи теплый, пропитанный его духом кусок лепешки. Разламывает и чавкает молча. Над нами звезды. В тополе так душисто пахнет, что кружится голова. Мне вдруг слышится, что Драп делает что-то горлом, вот так: гум-гум. Я быстро проглатываю кусок и спрашиваю:

— Драп, ты чего? чего плачешь?

Драп молчит, но сильнее слышится — гум-гум-гум... потом всхлипывание носом, потом дрожит гладильная доска, дрожит тополь, дрожит, слышу я, Драп. Слышу я, как подрагивает его коленка об мою ногу.

— Не пойду я домой...— сдавленно говорит-скрипит Драп.— Заколотят меня, Колька...

Да, у Драпа защиты нет: ни отца, ни матери.

— Драп,— говорю я,— когда я буду большой, я тебя к нам возьму. Будешь, может быть, лесом торговать. Я обязательно буду лесом торговать. Будем на барках по рекам ездить...

— Заколотят меня, Колька... Нет, полечу лучше! Либо смерть приму, либо...

Слышу я, как идут шаги к моей комнате по коридору. Я вскакиваю, все забыв, и... лечу вниз, на проволочную сетку, под которой живут цыплята. По голове ударяет меня гладильная доска, которая летит за мной. Я сижу в провалившейся сетке и вижу на фоне звездного неба, как в тополе раскачивается уцепившийся за сук Драп. Он качается долго и страшно, все старается зацепиться пяткой за дерево и все никак не достанет.

— Вот проваленная сила!— кричит наша кухарка, высунув голову из кухонного окошка, под тополем.— Да куда вас, чертей, носит!

Я чуть жив, молчу, ничего не понимаю от испуга. Я путаюсь в прорванной сетке и не свожу глаз с качающегося Драпа.

— Ой!— сдавленным голосом кричит Драп.— Колька, упаду!

И с этим криком Драп падает на меня с высоты. А кругом шумят. Гришка ругается, что сломали садок цыплячий, что ему опять его завтра налаживать. Хозяйка Драпа тычет в сетку лоханной палкой и тоненьким, будто ласковым голоском подзывает:

— Поди, поди сюда... я тебе скажу-покажу... Да пойдешь ты, идолова голова!

Драп царапается по сетке, скользит вдоль стены кошкой, чтобы юркнуть в щель между домом и забором, в глухой тупичок, но у входа в щель уже стоит наготове Гришка и перехватывает его за волосы. Толстая старуха скорнячиха кричит на весь двор, что пропал у ней зонтик с погребницы,— не эти ли чертенята унесли? А из окна раздается суровый голос и призывает меня к жизни:

— Сидел два дня на ключе — еще посидишь!

Я слышу визгливый, словно кошачий, крик в темноте.

Это кричит Драп. Кричит ужасно. Все разлетелось, как дым, как сон, — и скучная, жуткая подчас жизнь опять показывает мне серое свое лицо и сурово смотрит. Нет ничего: ни Африки, ни лесов, ни далекого неба, ни француза, ни веселых ярких шаров... Где-то слоны ходят под жарким солнцем, в зеленых лесах... Где-то живут храбрые вольные французы, гуляют нарядные дети под музыку, выются флаги, господа кушают за беленькими столами, звучат ясные трубы... А здесь — старый двор, развалившиеся сараи, угрозы, крики... Скучная жизнь! Ну, ничего. Она опять засверкает, вот только взойдет солнце.



„Наполеон“

Рассказ моего приятеля

Были святки. Мой закадычный друг Васька с нашего двора давно подбивал меня побывать в балаганах «под Девичьим».

— Огромное место там, пустое,— рассказывал он

мне с жаром, — и все там балаганы, и черти выскакивают, и пушки грохают... вот ей-богу!

И дворник наш тоже побожился, что «бывает, что и чертей показывают... всякие там кеатры!».

Меня выпустили гулять на двор, и я ускользнул с Васькой «под Девичье». Был у меня всего двугривенный. Мы его разменяли по дороге на стрючки и сахарных петушков, а когда добежали до гулянья, Васька взманил меня прокатиться на карусели, обещая взять какую-то «партию» в шесть колец; тогда нас будут катать задаром хоть целый день. Я отдал последний гривенник. Васька взял «партию», прокатился раз пять задаром, и его наконец стащили с конька за шиворот.

— Жулики! — обругался он. — Не хочется только городского звать... А в балаган под доски пролезем... мне все известно!

Высокие балаганы заманчиво белели свежими досками, пестрели щелкавшими по ветру флагами. Весело зазывал колокол, парни сипло орали на морозе:

— Пра-воррней, пра-воррней!.. Не теряйте врремя дарром!..

Мы протискались к высокому балагану с раскрашенным балконом. По балкону ходил какой-то в зеленом балахоне и орал хриплым голосом:

— К началу, к началу, щипать мочалу! Сейчас сам господин Наполеон будет палить из пушки... по ста-рушке! Эй, городской, начнем Бородинский бой!.. Гренадер-военный, у тебя шаг здоровенный... шагай — не бойся, только в баню сходи помойся, а то у нас все господа за грош, а на тебе грязь да вошь!..

Все весело топтались, гоготали. Солдаты валили кучами, брали в окошечке билеты и пропадали за полотном, на котором были намазаны корабли, стрелявшие огнем пушки, бушующее море, откуда высовывали мор-

ды зеленые крокодилы и огненные змеи, стояла красная крепость на горе, усыпанная солдатами, и перед ней, скрестив руки,— человек в сером сюртуке и в шляпе с пером. Я подумал, что это, пожалуй, Наполеон и есть, который будет палить из пушки.

Васька пробовал проскользнуть с солдатами, но его схватил парень в красном плаще, с золотым мечом и столкнул со ступенек в снег. Тогда он повел меня кругом балагана — поискать, нет ли дырки. Но дырки не было, и мы опять очутились перед входом. В окошечке торчала голова барыни в лисьей шубе и зорко поглядывала на нас. Иногда барыня высовывалась, как собака из конуры, дергала в колокол и огрызалась:

— Если желаете в спектакли, платите деньги. Сенька, гони мальчишек!

Из-за моря со змеями выскакивал красный парень и отгонял нас мечом. А в балагане уже раз выпалили из пушки. Васька уже предлагал подкопаться под стенку сзади, как вдруг надо мной раздался веселый голос:

— А, и вы здесь, сударь?! Неужто одни ушли?..

И я увидел дядина приказчика. Он был в синей чуйке, в новых резиновых калошах и пощелкивал шпапские орешки. У меня засосало сердце, что я убежал без спроса. Он, должно быть, заметил мое смущение.

— Ничего-с, скажем, что со мной были. Угощайтесь... — протянул он орешков на ладони, — изволили любоваться на приставление кеятров?

— У него де-нег нету, — плаксиво зашипел Васька.

— Связались вы, сударь с таким сопливым! — сказал дядин приказчик, даже и не взглянув на Ваську. — А зачем нам с вами платить деньги, ежели у нас тут самый главный представитель, который папеньке стенки в банях расписывал! Да мы его сейчас встрепенем!..

Он подошел к окошечку и важно закачал пальцем.

Барыня что-то поморщилась и закричала злым голосом:
— Приходите в самые спектакли! Наполеона требуют!— крикнула она под занавеску.

Дядин приказчик вынул серебряные часы и долго смотрел на них. Потом погромел мелочью в кармане.

Наполеона, Василь Сергеев... хозяйка кличет!— заорал кто-то за стеною, и появился тот, который недавно ходил по балагану. Он теперь был в серых сапогах с жестяными звездами, в сером коленкоровом сюртуке с огромными жестяными пуговицами и в серой картонной треуголке. И лицо у него было серое и до того худое, что выступали кости. В одной руке он держал жестяную шпагу, в другой... Но другой руки не было, а болтался пустой рукав.

Он метнулся, узнав приказчика; как будто растерялся.

— А мы к вам-с, для кеятров,— сказал дядин приказчик, тыкая меня в башлычок.— Они, стало быть, сынок папеньки ихнего, стенки-то расписывали через меня... И еще будете иметь заказы! Удовлетворите уж такое ихнее любопытство... Желательно в балаган, а они прокутили весь свой капитал!

— Да что вы-с!— воскликнул серенький человек и протянул мне руку, в которой была шпага. Даже пошаркал звездами.

Я был изумлен, польщен. Все глазели на «самого главного», который сейчас будет палить из пушки, а он протягивал мне руку и кланялся!

— Вы теперь, стало быть, самый главный Анаполеон и есть?— спрашивал дядин приказчик важно, пощелкивая орешками.

— Зима-с,— поддернул Наполеон плечом.— Малярной работы нет, а тут все рублика два-три. С утра до ночи, спектаклей двадцать, и на морозе, и на балагане орать надо... Вот и представляю.

— Дело хорошее. Уж вы устройте, убогаторите, при протекции кеятров!— настаивал приказчик.

Наполеон сморщился и покашлял в руку. Поглядел на барыню в ящике и опять покашлял.

— Да с удовольствием, отчего же-с... Трое вас...

— Сопливый и без билета прошмыгнет!— толкнул дядин приказчик Ваську.

— Дя-динька,— захрипел Васька, цепляясь за мой тулупчик.

— Идти — так уж всем-с!— строго сказал Наполеон и направился к барыне.

Он что-то говорил ей, снял треуголку и постучал ею в грудь; но та сидела как каменная, поджав губы.

— Хорошо-с,— сказал грустно Наполеон и махнул рукой.— Запишите.— И поманил нас шпагой.— Пожалуйста смотреть-с!

— Первые места если, рупь за троих!!— крикнула строго барыня.

— Ловко вам наше угощение влетело!— сказал дядин приказчик.— Зато из чести стараетесь, для протекции! Вы теперь, стало быть, будто царь... царь Анаполеон!

— Да,— сказал уныло Наполеон.— Вот вчера простудился, всю грудь завалило, и голос потерял, сиплю. А для Наполеона, сами знаете, героем надо быть! И голос резкий чтобы.

— Ничего, сойдет. Анаполеон у нас померз. Вот и выходит, в самый раз,— сказал дядин приказчик, хлопывая по плечу Наполеона.

Серенький человек посадил нас на переднюю скамейку, где коптили в деревянной канавке лампы, и сказал, что сейчас начнется.

— Велит хозяин повеселей, для смеху публики...— усмехнулся он.— Ну, придется, знаете, ломаться! А раз-

ве так для Наполеона надо?!— показалось, сказал он мне и даже ласково подморгнул.— Ну, я уж для смеха выдумываю, сочиняю сам!..

Он ушел. Занавес заколыхался, и заколыхались на нем дворцы и тигры. В балагане было, кажется, еще холоднее, чем снаружи, даже свистело в щели. Сзади стучали ногами от мороза. Наконец занавес поднялся, и я увидал город на горе, и по этой синей горе белели клубочки дыма и лезли синие турки в красных шапках. Сверху сошвыривали их штыками наши. На полу была навалена куча снега, самого настоящего, и он не таял. На куче стояла табуретка и валялось несколько березовых поленьев.

— Стало быть, зима и Анаполеон будет замерзать!— сказал мне дядин приказчик, пощелкивая орешками.

— А помрет?— спросил боязливо Васька.

— А ты не встревай, сопливый... сиди-гляди!— сказал строго приказчик, швыряя скорлупки в снег.— Им бы весь намест завалить надо, для вида лучше!

Вышел Наполеон, опутив голову на грудь. Дошел до ламп, и стало видно, как изо рта его вырывался пар. Видно было по всему, что ему очень плохо.

— Ах, какой ужасный русский мороз!— прохрипел он, грея дыханием руки.— Сегодня, должно быть, сто градусов! Ужасно!

Он грозно топнул — прыгнули язычки в лампах — и сел на табуретку, разминая ногами скрипевший снег. Рукав его сюртука мотался, постукивали ноги о табуретку, подрагивали плечи.

— Здорово прихватило?— кричали сзади.

— Ему теперь прямо беда... Анаполеону-то!— объяснил мне дядин приказчик, выплевывая скорлупки прямо Наполеону под ноги.— Некуда ему податься, как приперли! Одна табуретка ему осталась да полешки... тьфу,

тьфу! — поплеывал он скорлупками. — Ну-ка, Василь Сергеев... докажи себя! Повеселее!..

Наполеон поглядел на нас и усмехнулся грустно. Опять подошел к лампам и погрозил кулаком на публику.

— Не сдамся!.. Все... на банку!.. — крикнул он весело.

Так все и загудели:

— Верно! С морозу-то и на целую бутылку можно!..

— Роковой час пришел! — крикнул Наполеон и перхнулся: забило его кашлем.

— До чего все верно-с! — вздохнул дядин приказчик. — Стало быть, лютый мороз, и он, понятно, застудился. Ну до чего все верно!..

— Храбрые мои маршалы-ы! — крикнул Наполеон, махая шпагой.

Появились парни в красных плащах, в зеленых штанах, в золотых сапогах и с золотыми мечами, которыми они враз стукнули, как ружьями. На их высоких шляпах торчало по гусиному крылу. Один из них только что гнал нас от балагана. Но теперь оба были чем-то испуганы и все глядели туда, откуда вышли. А оттуда выглядывала пушка. Наполеон потер себе грудь и крикнул шипящим голосом:

— Я победил все народы!..

Маршалы вытянули шеи и опять стукнули мечами.

— И вот попал в снега России! Ужасно! Но все равно. Я сжег все корабли, и уже нет мне возврата в славное мое отечество! — выговорил Наполеон в отчаянии и стукнул кулаком в грудь. — Нет, не сдамся! Ужли я должен покончить свои роковые дни на проклятых русских полях, покрытых снегом?! О, горькая моя судьба!..

И от опустил голову на грудь. Все замерли. Дядин приказчик разгрыз орех.

— Решено и подписано! Сейчас начнется славный Бородинский бой!..

— Ура!— гаркнули маршалы и опять стукнули мечами.

— Да это наши солдаты, из Хамовников!— крикнул кто-то за мною.— С первой роты, Перновского полку!.. Митюгин, жарь!..

— А зачем он сжег свои корабли?— спросил я дядин приказчика.

— Значит... так уже ему занадобилось. На дрова, может, по случаю морозов... Уж это ему известно!

— Храбрые мои марша-лы-ы!— крикнул Наполеон.

Парни вытянулись, как по команде, и замаршировали плечо к плечу. Потому и маршировали, что — маршалы?

— Зарядить все пушки и орудия!— крикнул Наполеон и заходил, притопывая, чтобы согреться.

— Чего ж он дров-то не зажигает?— спросил Васька.

— Не умеет,— усмехнулся дядин приказчик и хитро подмигнул мне:— Полиция не позволяет, по случаю пожара.

Маршалы отмаршировали за кулисы, откуда послышался барабанный бой и труба. Началось самое интересное. Наполеон подошел к краю, погрел руки над лампой — так все и зашумели!— и прошептал:

— Чую, что несдобровать! А, плевать!— крикнул он лихо, плюнул и даже растер ногой.— А напоследок выпью... ро-му!

И ловко крякнул. Весь балаган так и загромыхал. Дядин приказчик даже всплеснул руками и затопал:

— Ну до чего же ве-рно!..

Наполеон достал из кармана бутылочку и, подмигнув нам, забулькал. Все закричали «браво!».

— Маленько обогрелся,— крякнул Наполеон, подмигивая.— Ух, русские морозы!

— Да, брат, без ее плохо!— кричали сзади.

— А теперь... в страшный бой, и пусть судьба решит!..

Но не успел он договорить, как из-под его ног вырвал-

ся белый дым, словно вытряхнули муку, и поднялось что-то в белом, как привидение.

— Кто ты... о незнакомец?— крикнул Наполеон, махая шпагой.

Незнакомец ответил загробным голосом:

— Знай, несчастный, что русские непобедимы!

Ударили лихо трубы — «Ах вы, сени, мои сени», и весь балаган загремел ногами и заорал «браво!».

Наполеон гордо откинулся и пырял воздух шпагой.

— Все силы ада су-против меня!— хрипел он.— Но я, Наполеон, властитель мира и народов! Кто ты?..

— Я...— словно завывло привидение,— конец твоему гордому ндраву! Слава твоя прошла!

И незнакомец провыл, что Наполеон помрет постыдной смертью середь моря-окияна на острове и тогда увидит его опять в последний раз!

— Кто же ты?— кричал Наполеон, пыряя шпагой.

— Кто я-аааа?!— завыл незнакомец ужасным воем.— Я... смерррт твоя!..

Простыня распахнулась, и мы увидели черное, расписанное белыми полосками, как скелет, а из-под пола выставилась сверкающая коса. Смерть подхватила косу и провела ею над головой Наполеона. Снизу задымилось, и едко запахло серой. Наполеон махнул шпагой, а смерть медленно пятилась и грозила косой. Наконец ушла.

— Ха-ха-ха!— хохотал страшно Наполеон.— Смерть? Плевать! Маршалы, ко мне! Начнем Бородинский бой!

— Начнем!— гаркнули маршалы, словно на лошадей, и выкатили пушку.

— Пали!— скомандовал Наполеон.

Грохнуло, и все заволочло дымом. И такая пошла стрельба, что стало страшно. Наконец затихло. Наполеон, кашляя от дыма, махнул платочком. Опять появились

маршалы. Наполеон сел на пушку, а маршалы стали его разглядывать: не ранен ли?

— Ага!— крикнул Наполеон,— русские не сдаются? В таком случае идем прямо на Москву!

— Ура!— заорали маршалы и стукнули мечами.

Занавес опустился. Вышел кто-то в хорьковой шубе и объявил, что завтра будут представлять бегство Наполеона из Москвы, русские пляски-апофеоз и дивертисмент с ножами и огнями, фо-кусы!

— Ай, Василь Сергеич... Какой представитель знаменитый,— сказал дядин приказчик.— Земляк мой, всякие художества умеет.

Когда мы выходили из балагана, нас нагнал Василий Сергеич уже в зеленом балахоне.

— Посмеялись, сударь?— ласково сказал он и погладил меня по башлычку.— Вот как на хлеб да на квас-то зарабатываем!

И попросил дядиного приказчика похлопотать для него работы.

— Найдется, опосля праздников наведайся,— сказал дядин приказчик.

— Одному-то бы ничего, да братнины сироты при мне...

— Для тебя отказа не будет. И сударь папашеньку попросит...

Когда мы пошли от балагана, по балкону ходила огромная черная голова, а бывший Наполеон колотил по ней палкой и кричал сиплым голосом:

— А вот дать сладких сухарей, чтоб издох поскорей! Проворней, проворней... кхеа... кха... Ах, застрял в глотке возок льду... проворней, проворней... Наполеона представлять пойду!..

— Пропащий человек!— сказал дядин приказчик.

— Почему — пропащий?

— Пропадет. В больницу его надо, кровью плюет, а он вон на морозе ломается, орет. А зато людям весело!

Я оглянулся на балаган, на зеленого человека, что-то кричавшего на народ, приставив ко рту руку, и мне стало чего-то грустно.

— Вот и получили удовольствие,— говорил мне дядин приказчик ласково,— и папашеньке скажете, что не один были, а со мной... сводил вас на представление кеятров, и денежек не платили-с. И со мной-с. Одним не хорошо, и черный народ ходит-с... слова разные нехорошие и поступки-с. Так и скажите-с, что со мной, в сохранности. Орешков-с?..

Я все оглядывался. Вспоминал серое лицо Наполеона, и рукав его сюртука, и кашель. И флаги на пестрых балаганах уже не манили меня веселым щелканьем.

— А вы чего это приуныли?— спрашивал дядин приказчик весело.— Васька-то вон как прыгает! Без спросу ушли, что ли... боитесь, что трепка будет? А вы скажете, что со мной...

Пожалуй, и это меня тревожило. И было еще, другое.



Русская песня

Я с нетерпением поджидал лета, следя за его приближением по хорошо мне известным признакам.

Самым ранним вестником лета являлся полосатый мешок. Его вытягивали из огромного сундука, пропитан-

ного запахом камфары, и вываливали на него грудку парусиновых курточек и штанишек для примерки. Я подолгу должен был стоять на одном месте, снимать, надевать, опять снимать и снова надевать, а меня повертывали, закалывали на мне, припускали и отпускали — «на полвершочка». Я потел и вертелся, а за невыставленными еще рамами качались топовые ветви с золотившимися от клея почками и радостно голубело небо.

Вторым и важным признаком весны-лета было появление рыжего маляра, от которого пахло самой весной — замазкой и красками. Маляр приходил выставить рамы — «впускать весну» — и наводить ремонт. Он появлялся всегда внезапно и говорил мрачно, покачиваясь:

— Ну, и где у вас тут чего?..

И с таким видом выхватывал стамески из-за тесемки грязного фартука, словно хотел зарезать. Потом начинал драть замазку и сердито мурлыкать под нос:

И-ах и те-мы-най ле-со...
Дай йехх и те-мы-па-ай...

Я старался узнать, что дальше, но суровый маляр вдруг останавливал стамеску, глотал из желтой бутылочки, у которой на зеленом ярлычке стояло «политура», плевал на пол, свирепо взглядывал на меня и начинал опять:

Ах-ехх и в те-мы-на-ам-ле...
Да и в те... мы-ны-мм!..

И пел все громче. И потому ли, что он только всего и пел, что про темный лес, или потому, что вскрикивал и вздыхал, взглядывая свирепо исподлобья, — он казался мне очень страшным.

Потом мы его хорошо узнали, когда он оттащил моего приятеля Ваську за волосы.

Так было дело.

Маляр поработал, пообедал и завалился спать на крыше сений, на солнышке. Помурлыкав про темный лес, где «сы-тоя-ла ах да и со-сенка», маляр заснул, ничего больше не сообщив. Лежал он на спине, а его рыжая борода глядела в небо. Мы с Васькой, чтобы было побольше ветру, тоже забрались на крышу — пускать «монаха». Но ветру и на крыше не было. Тогда Васька от нечего делать принялся щекотать соломинкой голые маляровы пятки. Но они были покрыты серой и твердой кожей, похожей на замазку, и маляру было нипочем. Тогда я наклонился к уху маляра и дрожащим тоненьким голосом запел:

И-ах и в те-мы-ном ле-э...

Рот маляра перекосялся, и улыбка выползла из-под рыжих его усов на сухие губы. Должно быть, было приятно ему, но он все-таки не проснулся. Тогда Васька предложил приняться за маляра как следует. И мы принялись-таки.

Васька приволок на крышу большую кисть и ведро с краской и выкрасил маляру пятки. Маляр лягнулся и успокоился. Васька состроил рожу и продолжал. Он обвел маляру у щиколоток по зеленому браслету, а я осторожно покрасил большие пальцы и ногти. Маляр сладко похрапывал — должно быть, от удовольствия. Тогда Васька обвел вокруг маляра широкий «заколдованный круг», присел на корточки и затянул над самым маляровым ухом песенку, которую с удовольствием подхватил и я:

Рыжий красного спросил:

— Чем ты бороду лучил?

— Я не краской, не замазкой,

Я на солнышке лежал!

Я на солнышке лежал,
Кверху бороду держал!

Маляр заворочался и зевнул. Мы притихли, а он повернулся на бок и выкрасился. Тут и вышло. Я махнул в слуховое окошко, а Васька поскользнулся и попал маляру в лапы. Маляр оттрепал Ваську и грозил окунуть в ведро, но скоро развеселился, гладил по спине Ваську и приговаривал:

— А ты не реви, дурашка. Такой же растет у меня в деревне. Что хозяйской краски извел, ду-ра... да еще ревет!..

С того случая маляр сделался нашим другом. Он пропел нам всю песенку про темный лес, как срубили сосенку, как «угы-на-ли добра молодца в чуду-дальнюю сы-торо-нушку!..». Хорошая была песенка. И так жалостливо пел он ее, что думалось мне: не про себя ли и пел ее? Пел и еще песенки — про «темную ноченьку, осеннюю», и про «березыньку», и еще про «поле чистое»...

Впервые тогда, на крыше сеней, почувствовал я неведомый мне дотоле мир — тоски и раздолья, таящийся в русской песне, неведомую в глубине своей душу родного мне народа, нежную и суровую, прикрытую грубым одеянием. Тогда, на крыше сеней, в ворковании сизых голубков, в унылых звуках маляровой песни приоткрылся мне новый мир — и ласковой и суровой природы русской, в котором душа тоскует и ждет чего-то... Тогда-то, по ранней моей поре, — впервые, быть может, — почувствовал я силу и красоту народного слова русского, мягкость его, и ласку, и раздолье. Просто пришло оно и ласково легло в душу. Потом я познал его: крепость его и сладость. И все узнаю его...



Светлая страница

Памяти отца посвящаю

I

Как будто еще недавно было все это... Огороды с грядками сизой капусты, шумные стаи ворон, густой лесок спаржи... Да, когда имеешь вершков двадцать росту,— и спаржевая посадка кажется лесом. В этих

привольных местах мы с Васькой проводили очень хорошие часы, поедая столбунцы и стебельки горьковатой свербинки, благословляя судьбу, пославшую нам такую чудесную рошу, и где же!.. В городе!

Да, еще не так давно в Москве, бок о бок с громающей мостовой, существовало заманчивое тишиной и привольем царство. И мне, и Ваське казалось, что только вороны да мы и знаем прелести этого открытого нами уголка. Нами? Нет. Я никогда не мог уступить первенства, хотя мой приятель и уверял, ссылаясь на Драпа и мальчишку из кузницы, что он и раньше знал огороды и даже собирал там старые гвозди. Конечно, он прихвастнул: я отлично помню его выпученные глаза, когда он впервые взглянул на красный дом без окон и поднял гнилые доски неведомого колодца. Ну, пусть. Пусть и ему принадлежит немножко чести открытия: он стоит того.

Теперь, лет двадцать пять спустя, видны только осколки этого заманчивого мира.

Проходя со стороны Замоскворечья к Крымскому мосту, я и теперь еще вижу по обе стороны улицы выкрашенные в красную краску перила. Они все те же, только стали как будто пониже. По левой стороне они еще выполняют свое назначение, охраняя зевак, особенно по ночам, ибо тротуар круто обрывается за ними, сбегает откос, и внизу тянутся огороды. Но с правой стороны огороды засыпаны, и теперь на пустом пространстве нового квартала скоро вытянутся вдоль улицы дома. А когда-то именно здесь лежало наше зачарованное царство.

Мы пропадали в зарослях лопуха, крапивы и конского щавеля, разыскивая «просvirки» и сладкий дудочник. Вешним воскресным утром нежились мы среди золотого моря крупного одуванчика, во все щеки дуя в пискливые трубочки, которые Васька ловко умел мастерить из

пустых стебельков. Следили, как воробьи путались в пушистых ветвях спаржи, как вороны и галочки разрывали мусорные кучи. Летними вечерами наблюдали мы с пугливым вниманием, как подозрительные фигуры сползали с откоса на огороды и что-то искали с фонариками на грядках. Васька уверял, что это жулики закапывают клад или отыскивают уже зарытый. Но скоро оказалось, что это мирные рыболовы собирают выползков, крупных червей, выбирающихся к ночи на грядки.

Много хорошего было в этих местах, но самым замечательным было большое деревянное здание, покрашенное в красную краску. Оно стояло в укромном местечке, в конце огородов. За ним возвышалась насыпь, защищавшая огороды от разливов реки весной. Засыпали огороды, и пропало навеки то памятное красное здание.

Да, памятное. Там жил Кривой. Там, в веяных сумерках, доживали печальные дни свои четыре необыкновенные лошади. Там был черный провал в глубь земли, скрипучие огромные колеса и громяхающие цепи.

Нет, уж лучше буду рассказывать по порядку.

II

Мне едва перешло за семь лет.

Помню яркое утро апреля, первые свежие листочки черной смородины в нашем саду и веселый гомон вылетающих из курятника кур. Помню золотистые клубы пыли из-под метлы дворника Гриши и далекие облачка в голубом небе.

Отписав палочки и штришки, я вырвался в сад, за пасся горсточкой свежих листочков и забрался на крышу беседки. Лежал на горячем железе, на солнышке, жевал «смородинку» и прислушивался, как по ближним дворам играла шарманка, мурлыкал песенку штукатур на

нашем дворе и знакомый мороженщик сладко выкрикивал:

— Мо-ро-же-но-о... хо-ро-ше-е!..

С нетерпением поджидал Ваську. Это был мой первый, что называется, закадычный друг, сын сапожника Прохора из подвального этажа. Звали его еще «клеяменным» за большое пятно ожога на лбу. Он был года на два старше меня, играл в бабки с левой руки и ничего не боялся. Без сапог и картуза он мог сбежать через всю Москву за голубями на какую-то Трубу, где, как он рассказывал, и трубы-то никакой не было, а просто продавали на рынке голубей и собак. Он ловко умел «чикать» змеи, шнырять по крышам и чердакам и из мусорных куч добывать кости и гвозди на покупку мороженого. Я его считал очень могущественным.

Итак, я поджидал Ваську. Но до обеда он вряд ли вырвется. Прохор с поста приставил его к делу — сучить дратву, и Васька с горечью сообщил мне:

— Теперь капут. Отец меня пришпандорил.

На пожарной каланче, через улицу, ударил тревожный колокол. Пожар! С крыши бесседки я видел, как подымали большие черные шары, — три шара с промежутком внизу.

...В нашей части... Если бы был Васька!

По улице уже бежали мальчишки, мастеровые гремели по крышам, вылезая из окон чердаков. Пекаря с засученными рукавами уже торчали на заборе.

— Где пожар? У Крымского моста?!

Крымского моста я не знал, но знал, что совсем недалеко от нас находятся Крымские бани, куда я ходил по субботам. Должно быть, и мост где-нибудь там. Я уже слышал, как громыхали пожарные и бойко звенели колокольчики.

— Едут! Едут!! Наша! Нет лучше серых!

Чувство гордости, что это наша, самая лучшая часть,

вздрагивает в груди. Серые в яблоках! Только наша часть имеет таких лошадей. Как они мчатся, доставая мордами передние копыта и круто выворачивая шеи! И я кричу вместе со всеми:

— Не выдавай, серые!

И сами пожарные, кажется мне, гордятся и задирают головы, а толстый брандмейстер в черном сюртуке с белыми пуговицами, стоя на подножке, храбро показывает пальцем вперед.

Если бы быть пожарным!

Пекаря уже сорвались с забора и мчатся во весь дух, теряя опорки и опять вскакивая в них. Я бегу, позабыв, что без шляпы, не слушая дворника, который пытается метлой загородить дорогу. Уже далеко впереди мелькают медные каски пожарных. Я бегу и падаю: какой-то мальчишка ловко дал мне «подножку».

— Держи его, р-разбойника! держи!!— кричит весело старичок-лавочник и топают часто-часто на одном месте.

Я пробегаю мимо бань. Но что это! Красные перила тянутся по обе стороны улицы, прямой, как стрела, а за ними... Свежестью и простором пахнуло мне в разгоряченное лицо. Поля! Вправо и влево от улицы, за вереницей зеленеющих ветел, внизу тянулись поля. Это, конечно, были огороды. Я видел избушки, кучи навоза, шесты скворечников, зелень и стаи ворон и галок. Я видел вольное солнце, черные полосы гряд и простор, простор...

Пожарные скрылись, но меня уже занимало другое. Я подлез под перила и стал спускаться с откоса. Цветы! Желтенькие одуванчики весело заглядывали мне в глаза. Черные гряды. Пахнет свежей землей и травкой, пахнет как будто солнцем. Теперь уже не знаю я, как может пахнуть солнечный день, но тогда... Тогда самый простой осколок бутылки в мусорной куче много рассказывал

мне о себе, и улыбались вороны, и желтый венчик цикория закрывал собою весь мир. И пахло солнцем.

Я наткнулся на какие-то гнилые доски. Приподнял. В черной глубине увидел я светлое небо и свою голову. Я знал, что это колодец, и глядел с подмывающим страхом, втягивая носом струйки гнили и холодка. Не надо колодца! И я захлопнул крышку. Опять светлый день смотрел на меня, и желтенькие бабочки что-то искали по черным грядам. Зеленое донышко бутылки сверкало играющим на остром крае лучом.

Я посмотрел на улицу. С шумом колес и медленно двигающихся пешеходов она теперь показалась мне далекой.

Срывая цветы, я подвигался вперед и скоро выбрался на тропинку, которая привела меня к кучам мусора и навоза. Здесь, уткнувшись лицом в картуз с порванным козырьком, на куче тряпья и мусора храпел человек. Рядом стояла корзина с битым стеклом, костями и тряпками. Я вспомнил про Ваську. Хорошо бы ему побывать здесь: у нас каждый бы день было мороженое.

Я осторожно обошел человека, разыскал местечко почище и развалился. Здесь так хорошо пекло солнышко и гудели большие синие мухи. Лежал и смотрел в небо.

Высоко-высоко, над самой моей головой, стоял в синеве белый змей, плавно поводя мочальным хвостом. Если бы оборвался! Вон видно, как застрял на пути «посланник», переваливается на ниточке. Потрескивает трещотка.

«Листовой... — думаю я. — Надо сказать Ваське, чтобы похвостню подлинней делать... Хорошо... Этот уж не даст куры»...

— Эй, ты... господин-сковродин!..

Я привскочил на руках. Спавший человек, в картузе козырьком назад, тыкал в мою ногу палкой.

— Чего на тряпках-то развалился? Пускай!..

И, не дожидаясь, он откинул палкой мои ноги и выдернул огромную замятую тряпку, обдав меня пылью.

— Ферт какой! Ты вот мне спиц дай... Чай, уж куришь?..

Я поспешно вскочил и стал рыться в карманах, прекрасно зная, что все равно я не отыщу ни одной спички. Мне показалось, что он мне не верит, и вывернул карманы.

— Нету... вот...

Посыпались старые перышки, бабка-свинчатка, комочек бечевки и перочинный черепаховый ножичек.

— Таскаешь дрянь всякую... Твой?

Он поднял ножичек, осмотрел, попробовал на ногте и сплюнул через зубы.

— Мой... — нерешительно сказал я, затаился и посмотрел в сторону улицы.

— Не украду... Чего косишься-то... Продаешь? Дам три монетки... Ну! Вот там старушонка груши моченые продает...

Я колебался.

— Не надо. Совсем дрянь, вступился... Хошь, еще свистуна дам...

Он вытащил из сапога свистуна, глиняную трубочку с дырками.

— Ему цена-то полтинник, свистуну-то... Эх, как поет-играет! В мусоре нашел...

Он приложил к губам, зажал дырочки и заиграл «чижика». Мне понравилось.

— Ну давайте... Вы ножичек, а мне свистуна и три монетки.

Свистун и три монетки перешли в мой карман, а ножичек утонул в огромном голенище.

— Прощай, лаковые сапожки. Пора иттить — рожь молотить.

Я смотрел, как человек с палкой прошел по грядам, проваливаясь в рыхлую землю, и поднимался по откосу. Зато у меня свистун. Я вынул его и долго прилаживался; но ничего не выходило. Бродил по огородам и насвистывал. Дул и дул, пока какой-то кол не уперся мне в грудь. Я поднял голову.

Кол, на который я наскочил, был концом перил широкой лестницы. Она подымалась над землей на толстых столбах и упиралась в красную бревенчатую стену без окон. Высоко над крышей торчал шест с вырезанным из железа коньком. Трубы не было. Там, где должен быть, как мне казалось, второй этаж, в стене чернела дыра, к которой и подходила лестница. И лестница-то была необыкновенная. Вся она была сложена из бревнышков, покрытых навозом, и шла двумя заворотами, как деревянная горка. Должно быть, зимой по ней было очень хорошо скатываться на ледянках.

Что такое?!

Из темного отверстия в стене, наверху, выглядывала голова лошади. Это было совсем необыкновенно. Лошадь под крышей! Я уже забыл про свистуна, ступил шага три по лестнице и испугался тишины. Ни звука не доносилось изнутри. Я повернул назад, спустился на землю и обошел здание.

С задней стороны, внизу, была запертая на ржавый замок дверь с намеленным крестом. Высоко над землей окошко. Прудик с водой, покрытой радужными полосами, пощелкивающая клювом в грязи уточка и разохшаяся кадушка, наполовину в воде. И какая-то печальная тишина. Страхом повеяло на меня от молчаливого прудика и от этого странного глухого дома: точно кто-то подсматривает за мной.

В двери были две продольные щели. Я подошел и приложил глаз. Первое, что я увидел в полутьме, была

узкая золотистая полоска солнечного луча, пробившегося в другую щель. Пылинки кружились в ней.

Еще я разглядел... цепи, огромные темные цепи. Они тянулись сверху и пропадали в огромной черной дыре пола. Висели неподвижно. К ним в разных местах были привешены железные короба. Зачем эти цепи и короба?

...Топ... топ... топ... — глухо забило наверху.

Я отскочил от двери, обежал дом, чтобы выбраться к мусорным кучам, и, пробегая мимо лестницы, заглянул кверху. Заглянул и сейчас же отвел глаза.

В темном отверстии, где недавно торчала голова лошади, стоял большого роста человек со свирепым лицом. Он был в полушубке нараспашку и курил трубку. Весь он был какой-то лохматый, в меховой шапке и, как мне показалось, довольно старый и кривой. Я помню свирепый взгляд его единственного глаза. От точно пронзил меня.

Делая вид, что собираю цветы и вовсе не подсматриваю за ним, я подвигался все ближе и ближе к откосу, попал в канаву с зеленой водой и, наконец, выбрался на мостовую. И только оттуда, из-за красных перил, поглядел. В черном отверстии уже никого не было. Что-то мелькало там, неясное, какие-то странные, пробегающие тени.

Что там? Кто он, который прячется в темноте, и почему там нет окошек? Ах! Я забыл у прудика пучок желтых цветов, которые я собирал для отца...

Надо рассказать Ваське.

III

С Васькой я повидался в тот же день.

— Кривой? — переспросил он, делая страшные глаза. — Знаешь что... Не жулик ли?.. И окошек нет!.. Там, под мостом, всегда жулики... Вон отец сказывал, масте-

ра знакомого, скорняка, обобрали на реке... Огороды, будочников нет...

— Да ведь там люди ходят...

— Мало ли! А ночью-то и... А может, и не жулик.

— А зачем он там живет?

— Мало ли... Они хитрые... Может, и мастерскую держат. Думают все, что мастерская, а они... И цепи... Это я знаю. Это так устроено... Уж это они опускают что-нибудь в погреб. Уж это всегда. Надо обязательно Драпу сказать.

Драп был моим вторым другом. Ему было лет одиннадцать; он был на целую голову выше Васьки и имел очень крепкую грудь. По крайней мере, он всегда хвастался своей грудью, открывал рубаху и кричал:

— Бей, на!

Но ни я, ни Васька из страха не смели ударить. Да, это был настоящий герой, перед которым вся Васькина отвага ничего не стоила. Он мог переплывать какой-то Даниловский пруд, где, как всем было известно, жил огромный сом; лазил по шестам на гулянье под Девичьим монастырем и всегда обыгрывал нас в бабки.

— Почему он Драп? — спрашивал я Ваську.

— Не знаю. Отец его так прозвал.

Потом мне объяснил сам Прохор. Драп явился в мастерскую в рваном драповом пальто с большого роста, и с тех пор его стали называть Драпом.

— Драпа обязательно надо. Он ловкий. Он свою чугушку возьмет.

Чугунка Драпа пользовалась великой славой на нашем дворе. Он чикал ею змеи и играл, как биткой, в бабки.

Была суббота. Назавтра, после обедни, решено было отправиться к загадочному красному дому. Весь вечер мы с Васькой сидели на заднем дворе, в большой пустой бочке из-под сахара, и поджигали себя страшными рас-

сказами. После работ в мастерской появился и Драп.
— Драп, побожись, что никому не скажешь!..— начал Васька.

У Драпа забежали глаза.

— А что? Да вот тебе... Ну!

— Нет, ты три раза...

— Да вот же тебе! Ну, что?

Васька рассказал все, прибавив, чего и не было.

— Знаю...— с важностью сказал Драп.— Это живодерка. Бегал я к заказчику за мост, видал, как лошадь туда вели.

— Ну, вот,— живодерка! Живодерка за заставой...

— А тут, значит, другая. Трубы нет? Значит, не кузница. Должно быть, фабрика...

— А трубы-то нет! И окон нет...

Дворник Гришка мел двор, подымал тучи пыли.

— Я сейчас спрошу его...

— Стой, дура!— схватил меня за рукав Васька.— Не сказывай, не пустят!

— Да я про другое спрошу... Гриша!

— Чего еще? Ну, выходи из бочки-то... Замету!

— Погоди... Что, у нас тут жулики водятся?

— Где тут? А я-то на что! Они где поглуше... на огородах там... Намедни троих взяли в часть, поймали на барках, на сене... Около моста. Ну, выбирайся...

Мы вылезли из бочки.

— Что!— сказал Васька.— На огородах. Уж я знаю.

— Не пойду я. Не стоит, Васька...

— Струсили!— сказал Драп.— Ладно, я и один сбегаю. Двум смертям не бывать,— одной не миновать. Они, если к ним прямо прийти, ничего не сделают. Только в шайку свою заберут.

— Тогда уж никогда не выпустят, я знаю. И никто на квартиру не пустит.

— Да,— подтвердил и Драп.— Да мы тихо подкрадемся, только посмотреть.

Я долго не мог заснуть в эту ночь. Было жутко. Я бы, пожалуй, и не пошел; но тогда Драп не даст мне прохода, непременно будет дразнить: «барин! кошку жарил!» Он обещал недавно, что никогда не будет дразнить, если я влезу на крышу по высоченной пожарной лестнице; и я, после долгих колебаний, влез. Но теперь он опять будет дразнить.

Я лежал и смотрел на свой угол, где стояла большая картонная лошадь. Может быть, я уже не увижу ее больше, не буду по вечерам сидеть в кабинете отца... Может быть, я буду разъезжать теперь верхом на настоящей лошади по огородам ночью... Конечно, я не буду нападать, но...

IV

Наутро, после обеда напившись чаю и поев горячих пирожков, я отпрашиваясь в сад.

У забора, на груде досок, уже поджидали Васька и Драп. Васька был в чистой розовой рубашке, которая даже гремела на нем и пахла ситцем, и на весь двор дудел в свистуна, которого я уступил ему на денек. Драп был тоже одет по-праздничному: на босых ногах у него были опорки, волосы хорошо смочены квасом, и карман пиджака,— по праздникам он носил старый окороченный сюртук без пуговиц,— сильно отвис,— в нем лежала чугушка и торчал уголок ситничка.

— Ну, идем, что ли!— сказал Драп и плотней надвинул картуз.

Его отважный вид и яркий день подействовали на меня ободряюще. А, все равно.

— Вали через забор!— комапдовал Драп, запихивая в

рот большой кусок ситничка.— А то его дворник в воротах схватает! — показал он на меня.— Хошь ситничка?

Милый Драп! Он всегда делился с нами печенкой и ситничком, которые покупал на пятаки заказчиков. И на этот раз он оторвал по куску, сунул остатки за пазуху и посадил меня на забор. Перебрались, причем Драп, как всегда, прошел, растопыбив руки, по верхушке забора. Пробежали две улицы, миновали бани и спустились к огородам.

— Здорово здесь! — сказал Васька.— Что гвоздей-то в мусоре! Это, что ли? — показал он на красный дом в конце огородов.

— Да. А вот и колодец...

Осмотрели колодец. Драп плюхнул туда, и мы слышали, как щелкнуло в глубине.

— Ребята, идет кто-то! — крикнул Васька.

Мы оглянулись. Позади нас от бань спускался человек.

— Дай пройти... — скомандовал Драп.— Сюда, ребята!

Мы бросились за ним к огромной куче навоза, шагах в десяти от дорожки, и присели. Человек приближался. Драп вытащил чугунку и плотней надвинул картуз.

— Он, он! — сказал я.— Который стоял...

Он приближался. Это был высокий старик, немного покачивавшийся, в синем казакине внакидку. На щеке его, под закрытым глазом я заметил багровый шрам. Маленькая серебряная серьга болталась в ухе.

— Как у него тут-то! — многозначительно показал Васька на щеку.— Ка-ак его приложили!..

— Рази это жулик! Дурачье! — шепнул Драп.— Вишь, сережка в ухе... Солдат.

— А он, может, нарочно...

Великан приближался, размахивая рукой и издавая губами звуки трубы:

— Ти-там трру... ти-там-трру... тр-ру! Рассыпся, молодцы, за камни — за кусты! По два в ряд! Тру! Ти-там-тру!

Ба-ра-ба-а-ны, бей трево-гу,
Са-ра-жа-а-ай-си со вра-гом!
Барр-ра-ба-ан забил в тревогу,
Пушки гря-а-а-ну-ли уру!..

— Здорово поет! — сказал Васька, — а может, он это нарочно...

Мы следили, как великан поднялся по лестнице, отпер дверь и вошел.

— Жарь, ребята! — скомандовал Драп. — Пока не вышел...

Песня на нас подействовала ободряюще. Мы выскочили из-за кучи и забежали за красный дом к пруду.

— Вот здесь... — показал я на дверь.

Васька и Драп прильнули к щелям. Я сторожил окошко; но оно, как и вчера, было закрыто.

— Машина какая-то, — сказал Драп. — Что-то из земли вытаскивают...

Вверху что-то глухо стукнуло в потолок, и вслед за тем мы услышали сиплый голос его.

— Чего в чужую манерку-то лазишь? Дан тебе паек, и жри! Безногая команда... Смотри ты у меня! А ты чего выставилась? Чего на мне написано? Знай свою порцию! Вон Губошлеп знает... Ишь, ишь, ехидная ты какая... Ведь это что такое...

— Это он с лошадьми... — шепнул Васька. — Антиресно...

— Тсс!... — остановил Драп.

— Друзья вы мои прекрасные! Пр-рощай, Сахар-

ная! крышка тебе по всей твоей жизни и конец! А ты не плачь... Что ты будешь делать, ежели перемен судьбы... Иди смело, все примамай! Вон Губошлеп молодчина! Ему хоть сейчас... Военная косточка!..

Гремьте, трррубы барр-ра-ба-а-ны-ы,
Знамена вейси по ветру!
Мундер Нахимов надевает...

— Ты что ж это за ухо меня сосешь, подлец, а?

Бимоклем на врага глядит...
В после-дний раз проща-а-айте, бра-а-ат-
цы,
Пор-ра нам в путь, в последний пу-уть!..

Стало тихо.

Теперь и я понимал, что наверху жил солдат. Васька еще колебался. Драп сделал нам знак, чтобы стояли смирно, а сам, скинув опорки, чтобы не гроыхать, стал подниматься по лестнице. Он делал очень большие шаги, останавливался и слушал. Мы ждали. Сиплый голос стал снова что-то напевать. Мягко фыркнула лошадь. Драп уже подобрался к двери, стал за притолоку, вытянул голову и заглянул. Потом вдруг откинулся назад, вытянулся за притолокой и поднял руки. Строил гримасы и махал нам.

— Колеса! — прошептал он, нагибаясь к нам и взмахивая руками. — Иди!

Мы осторожно ступили на первые бревнышки помоста, как вдруг произошло что-то невероятное. Мы так и сели.

Огромная рука — в этот момент она показалась огромной — быстро выставилась из-за двери, схватила Драпа поперек живота и увлекла. Раздался крик Драпа и дикий хохот. У меня волосы зашевелились на го-

лове. Васька уже был за углом, а я так и замер на лестнице.

— Дяденька-а!— услышали мы пронзительный крик бесстрашного Драпа.— Пу-усти-и, дяденька-а-а!..

— Спущу, спущу-у... ха-ха-ха... Так это ты у меня голубей таскаешь! За голубями!!..

— Ай, дяденька! Ей-богу, не вру-у-у...— ревел Драп.— Мы та-ак...

— Лезь в бадью! лезь!! Спущу в тартарарры!

Драп погибал.

— Кто ты такой есть? Знаешь ты, что я из тебя сейчас сделаю?! А? Кто ты такой?

— Я, дяденька... Драп...

— Дрррап? Сукно-трика-дррап?! Говори, как звать, чтобы помнить!

Мы услышали топот. Должно быть, он напал на Драпа.

— Ку-уда, бесенок! Сорвешься!!! В колодец ввалишься, подлец ты этакий! Бак там, бак! Слезай сейчас!

— Отпускай лучше!— крикнул Васька.— Отпускай! Я за будочником побегу... Слышь!..

— Ах, подлецы!— раздался сиплый голос, и в дверях показался он.

— Ошалели вы, что ли! Дурачье, шутки не понимают... Иди, не бойся...

В этот момент из-под руки старика стрелой выскочил Драп и прямо со второй площадки ринулся вниз.

— Ах, головорез, шут! Голову чуть не свернул!..

— Вали его!— крикнул Драп, хватая ком сухого навоза.

— Да ты одурел! Тьфу! Вы ежели честью смотреть пришли, так и говори! а не то, чтобы скандалить. Брось!

Драп бросил ком.

— Испугал... Там у него наворочено всего, страсть! Голубей что! Утопить хотел... Там и дна не видно...

— Ха-ха-ха... — покатывался старик, ворочая одним глазом. — Дураки-дураки! Ну, иди, не бойся...

— Машины у него там, лошади...

— Ну, иди, что ли... не бойся!..

— Да-а, иди! А, может, у тебя там... Может, ты нас заманиваешь... — сказал Васька.

— Чего — заманиваешь?

— А, может, ты... Может, у тебя там жулики...

— Ступай вон! — крикнул кривой человек. — Раз ты такое безобразие, нет вам ничего!

И скрылся.

— Он нарочно... — сказал Васька. — А ты заорал!

— Да, как клещами схватил! Сразу, как подкрался...

— Дяденька! — крикнул Васька. — А, дяденька!

Старик вышел.

— Ты не пужай... Нам бы машину посмотреть... Вот ему хочется, — указал Васька на меня.

Кривой взглянул на меня, а за ним и Васька с Драпом. Видя, что на меня устремлено все внимание, я и сам оглядел себя. На мне был чистенький костюмчик, лаковые сапожки и, как я знал, синяя шапочка с якорьками.

— У них есть дом... — продолжал Васька, очевидно, желая расположить Кривого в мою пользу.

— А у меня нет?! — усмехнулся Кривой. — Во какие хоромы!

— У него две лошади! — продолжал Васька перечислять мое могущество.

— О! А у меня четыре!

— У него бани и сто кур!

Должно быть, сто кур произвели сильное впечат-

ление на Кривого. Он свесился и внимательно одним глазом оглядел нас.

— Да вы сами-то откуда? — спросил он.

— С его двора...

Васька назвал мою фамилию, и тут произошло совершенно неожиданное. Кривой выпрямился и торжественно снял шапку.

— Так вот кто пришел! Сам молодой хозяин! Хозяин пришел! Пожалуйста, пожалуйста сюда... Здравия желаем. Пожалуйста, поглядите... У меня тут вся механика...

Он спустился к нам и взял меня за руку. Я смотрел, ничего не понимая. Я здесь хозяин?

И Драп, и Васька смотрели на меня и на Кривого.

— А вы чего глаза пучите? Ведь это их водокачка... В бани воду подает...

У меня сильно билось сердце. Этот таинственный дом, эти лошади, колеса и цепи, этот Кривой оказались связанными со мной. Это было мое! И я, я был здесь каким-то хозяином. И все таинственное и такое заманчивое разлетелось. И Кривой, который теперь осторожно вел меня за руку по помосту, был уже простой старый человек, от которого сильно пахло дегтем и навозом. Я хорошо видел его закрытый глаз и другой, которым он добродушно смотрел на меня.

Драп и Васька шли за ним.

— Вон что! — шепотом говорил Драп. — Водокачка...

— Вот-с, пожалуйста... — говорил Кривой. — Все мое правление... Садитесь на стульчик...

Он смахнул рукавом с толстого чурбашка сор, взял меня за плечи и посадил.

— Очень даже на папашеньку похожи... Видите, как у нас здесь налажено. Это водокачка-с. Я при ней водо-

лив-с, у вашего папашеньки служу. Они меня приспособили. По случаю моей старости и глаза мне бы теперь на паперти стоять, а они меня приспособили, дай им бог здоровья. «Ты,— говорят,— Сидор, живи у меня по случаю, как ты служил верой и правдой и кровь свою пролил, и как захочешь, я тебя всегда в богадельню определю». А я говорю: «Я хочу сам себе прокормление иметь, и дайте мне какое услужение работы». А они смеются и говорят: «Дуракам закон не писан, служи водоливом, а за мной считай угол по самый день смерти». Слыхали про Сидора-то Кривого? Это я самый-с и есть.

Он стоял передо мной, склонив голову набок, и смотрел. И Драп, и Васька смотрели. Их приятель так неожиданно оказался таким могущественным. Чувство стыдливого замешательства испытывал я. Я, такой маленький и слабый, оказался хозяином всего, что было кругом,— колес и цепей, лошадей, которые мирно пожевывали в стойлах, сотен голубей, рядками сидевших на стропилах, и этого большого человека, который всем управляет здесь и так бережно и ласково относится ко мне.

— Вот-с лошадки... Эй, вы! Губошлеп, Стальная!

— Стальная?! Где Стальная?

— А вот-с, серенькая-то... Она самая-с... Ужли узнали? Ну, иди!

Он хлопнул Стальную по крупу, вывел из стойла и поставил головой на меня.

Стальная! Вот нам где пришлось встретиться! Столько слез пролил я год назад, когда ее уводили от нас! Цыган уводил ее. Она, бывало, возила детей кататься, как старая и смиренная лошадка.

«Заложить Стальную!»

Я, кажется, еще и сейчас слышу этот далекий теперь голос отца.

Но она стала слепнуть и натykаться на фонарные

столбы, и цыган обменял ее на Ворончика, получив еще придачи. Пропала Стальная. И вот теперь снова была передо мной она, повислая, с красными воспаленными глазами и сильно вздутым животом, с задней ногой, обернутой в грязную тряпку. Вот где привела судьба встретиться! Но она была все того же «мышинного» цвета, с черным клеймом на левой задней ноге, у крупа.

— Узнали-с? Опять у нас. Пал у нас Гнедой на водочке, и пошел я смотреть на Конную. А она там. Цыган-то ее всучил извозчику, а она, конечно, ему не подошла, ну, и попала на Конную. Мы и купили. Тут ей теперь самое настоящее место.

Я не понимал, почему ей было тут «место». Но я был рад, что она опять у нас, милая Стальная. Я потрепал ее по губам. Она потянула носом и взмотнула мордой.

— Признала! Лошадь уж всегда признает!

Мне и самому показалось, что она признала меня. Она обнюхивала мои руки; она всматривалась мутными глазами, медленно подымая волосатые веки. И было грустно. Какая она обвислая вся, старая...

— Последний ей здесь этап,— сказал Сидор.— Всем им... Покружаться, а потом на живодерку... В чистую отставку выйдут!..

И он начал показывать нам всех поочередно. Лошади... Какие лошади!

— Этот будет Губошлеп. Все зубы съел. Был мерин гнед, теперь шерсти на нем нет. Ходит в сапожке, ножки — что сошки, а сам Губошлеп. Вот какой красавец кавалер!

На правой ноге у него была намотана из сена и рожи огромная култыжка. Весь он был точно изъеден молью, и в потертых местах виднелись розоватые пятна кожи. Понурый, стоял он перед нами и жевал обвислыми губами.

— Самое теперь настоящее имя ему — Губошлеп. Была лошадь военная, теперь, как и я, калека, проживает два века. Ну, слу-ша-а-ай!..

Он приложил ладонь ко рту и затрубил:

...Ти-там-тррру... Ти-там-тру-ру-ру...

Губошлеп застриг ушами и поднял голову. Губы подобрались, и глаза как-то тревожно-печально осматривали нас. Он точно искал чего-то.

— Не забыл команды! На турку ходил, самые Балканы переходил, себе ногу повредил. Ваш папаша его за диковинку купили, на водокачку, в богадельню, определили. Ничего, конь крепкий.

Сидор говорил очень складно, посмеиваясь, но никто из нас не смеялся. Мы смотрели на невиданных лошадей.

— Так-то, животинки мои! Живешь,— не с кем покалякать, помрешь,— некому будет поплакать. Вот у нас с ими и компания. Они все понимают. А это вот «Вот те на» — голая спина. Был конь-огонь, теперь по воду ходит.

Он вывел из стойла худую, высокую лошадь. Были видны ребра, сильно выдавались ключицы с впадинами и острый хребет, на котором можно было пересчитать все позвонки.

— Сытая лошадка! Как на Конной вывели ее да как папашенька ваш поглядели на нее да и говорят: «Вот те на! Одна-то кость». Ну, я так ее и зову. А, бывало, Васькой звали... Старательная... на овес. Только ноги волочит, помирать не хочет. А вот и четвертая, Сахарная. Потому сахар у меня крала.

— Как крала?

— Очень хитрая была из себя. Давно было. Забралась ко мне в каморку, мордой дверь с крючка сшибла да прямо в сахар,— на полочке у меня лежал. Весь пакет сожрала. Так я ее с той поры Сахарной и зову.

Сахарная была коротенькая, рыжая лошадка, с маленькой мордочкой. Ее плечи были сильно побиты, с болячками в пластырях. Она стояла перед нами, низко опустив голову, и даже как будто покачивалась.

— Этой всякий срок вышел. Прощай, Сахарная! Теперь на сапоги...

— Как на сапоги?

— На живодерку. А там, конечно, не погладят. Так-то, молодой хозяин! Прошла весь свой круг жизни.

Сахарная стояла, покачивая головой, как будто слушала и хотела сказать, что она понимает, о чем говорит Сидор.

— И жалко тебя, старуха, а нет никакой возможности. Предел судьбы...

— Жалко,— сказал я.— Сидор, не надо ее на живодерку!

— Не надо... Уж продали. Завтра коновал придет. Ешь, Сахарная, напоследок, отведи душеньку...

Он отвел ее в стойло и подсыпал овса.

— Дяденька, а там уж ее пристукнут?— спросил Васька.

— На перину положат, блинами будут кормить...— хмуро сказал Сидор.

Сахарная стояла тихо, поставив заднее копыто на ребро, как будто и стоять-то ей было уже не под силу, и качала головой в кормушке. Я зашел ближе... Что она делала! Она, должно быть, уже не могла есть. Набирала овес, медленно шевелила губами, а овес сыпался назад в кормушку. Она заметила меня и скосила глаз. Я осторожно погладил ее по влажным губам. Тогда она затрясла головой и повернулась ко мне. Смотрела...

— Теперь пожалуйста, баринок, всю фабрику мою смотреть...

— Сидор! Вы вот что... Ее не надо на живодерку... Смотрите, она, должно быть, плачет...

— Все оне плачут. Я-то уж их вот как знаю. Все-то их жилки знаю. Круглый год тут с ними, как сверчок, сижу. Вот эта самая-то Сахарная, пять годов со мной тут, так весь ее карахтер знаю... И вот как, бывало, остановишь всю эту машину и пойдешь спать. А оне, значит, после работы едят. И вот как ночью проснешься и слышишь...

— Что слышишь?

— А все... Как оне будто промеж себя... Разговор какой у них...

Сидор присел на другой обрубок и закурил трубку. Она у него была старая, закопченная, с медной откидывающейся решеточной крышечкой.

— Да-а... И вот, стало быть, перво-наперво это вот Стальная... Весело так: и-и-и-их-хи-и-и-и!.. Эта уж всегда начинается. И так это у ней к концу жалостливо! Да-а... Ну, а не понятно. Так будто это: жила я, говорит, стало быть, в хорошей жизни и возила хорошую публику. И была у меня, скажем, сбруя вся, как из золота. И ела я, значит, самый первый сорт. А теперь мне, значит, вышел перемен судьбы ужасный, и я на водокачке. И потом опять так: и-и-орррр! Будто меня кличет: «Си-и-до-орррр!» Ну, конечно, крикнешь: «Э, черрртт! не ори!» Ну, и замолчит. Оне меня уважают. Плохого не видали...

Мы трое смотрели на Сидора во все глаза. Лошади тихо-тихо жевали.

— Ну, а еще как?

— Ну, а потом сейчас этот, Губошлен. слышно, как губами — чвак-чвак... И сейчас ногой — бум-бум — об пол. У него дух военный. Будто шпорами. Приснится ему, конечно, как он на поле битвы, и, может быть, видит страш-

ное кровопролитие и игру трубы... Ну, и вспоминает, и сейчас ногой... Будто скачет на врага... Да-а...

Голубок сорвался со стропил и, звеня крыльями, вылетел в открытую дверь. За ним еще. Тихо было. Драп сидел, разинув рот. Васька стоял у стойла и поглядывал на лошадей.

— Хорошо-с... — продолжал Сидор. — Поговорят и затихнут. Только вода капает... Сверчки отзываются. А там вон, в колодце, булькает что-то.

— Что булькает?

— Неизвестно, а булькает. И вот опять слышу, этот самый Губошлеп вздыхать начнет: а-ах... а-ахх-ха-а... Тяжело так, будто в гору идет. У него, конечно, внутри боль, кровь больная в нем ходит... Ну, и больно ему... И тяжело, конечно, после такой парадной жизни и на водокачку, по кругу ходить. Потом, значит, черед за этой, — указал Сидор на «Вот-те-на». Начнет чесаться. Плечи у ней болят. Чешется и хнычет. Тяжко ей. Плечи болят, а ты хомут надевай и в работу становись... Чихает она, конечно, а может, и хнычет... Хны-хны...

— А Сахарная? — спросил Васька.

— Ты погоди, дай сказать! Сахарная! Много ты понимаешь! Да... И вот похнычет-похнычет — даже неприятно слушать. А эта-то уж опосля всех, Сахарная-то... шептаться начинает. Шу-шу-шу-шу... А Стальная-то и-идо-оррр! А Губошлеп-то бум-бумм. Хны-хны... Всех их опять подымает и растревожит. А я лежу и все, конечно, понимаю. Ну, и пойдешь им овсеца подсыпать, возьмешь фонарик. Притихнуть все, стоят это, будто спят... А на глазах-то мокреть-мокро... Да-а... Ну, теперь покажу вам всю механику...

Какая огромная механика! Мы все взирали на Сидора, как на существо из другого мира.

— Уж я вам ее в дело приведу, видней будет. Ну-ка,

господин Губошлеп, пожалуйста в строй... ма-арш! А в компанию ему прихватим Стальную... — он искал глазами, — самая их пора...

Он вывел лошадей из стойл и поставил на круглый бревенчатый помост, посредине которого стоял высокий и толстый столб. «Вот-те-на» и Сахарная повернули головы и смотрели. Сидор надел на лошадей хомуты, накинул на кольца хомутов крючки с прикрепленными к ним ремнями, к концам которых были привязаны палки с толстыми крючьями, и зацепил этими крючьями за крюки на концах бревен, вделанных в высокий столб. Лошади стояли покорно, опустив головы.

— Теперь мы им глаза завяжем...

— Зачем же глаза завязывать?

— Обязательно. Кружить оне будут, так вот чтобы головы-то у них не закружились. А то упадут.

— Ну-с, теперь пошла машина. Э-гей! Фю-итть!

Он свистнул. Лошади подались вперед, согнув шеи и вытянув ноги. Хомута врезались в плечи. Скрипнуло, треснуло где-то наверху, громыхнуло. Затряслась водокачка. Забили глухо копыта по навозному выбитому помосту. И толстый столб стал медленно поворачиваться.

— Вот-с. Теперь, глянь-ка, на этом столбу, вверху, колесо поворачивается... Видать?

— Видать... — повторили мы трое.

— Та-ак-с... А на том колесе вставлена дубовая решетка, как все равно решетчатый барабан. Видать? Вот. А вон лежит круглая балка, и на ней, значит, тоже колесо-барабан, а на барабане клинья дубовые — кулаки... Видать?..

— Видать...

— И вот эти кулаки, значит, как раз друг за дружкой в решетку попадают. Она вертится, цепляет за кулаки и то колесо поворачивает. Тот, значит, столб лежащий пово-

рачивает. Теперь сюда идем. Во-он, конец этого столба где лежит! А на нем самое большое колесо, водяное называется, а на нем цепи железные... Видать? Во-от... А на цепях бадьи-короба. Теперь, стало быть, колесо водяное вертится, а цепь петлями за кулаки на нем цепляется, и кружится цепь, стало быть... С этого боку вниз на ней ползут пустые кораба. Как доползут до самого низу, где вода в громадной ванне стоит, зачерпнут и уж по этой стороне вверх идти начинают. Вон она ползет, бадья-то, полная, плещет даже, а за ней пониже, вон еще выползает, а там еще... Вон доползла до самого доверху, валиться начинает на колесо, а вода из нее хлещет... А куда хлещет? В корыто под колесом, — вон оно! А оттуда по желобу в бак бежит. Вон он на столбах стоит. Там ведер тысяч пять воды... А уж из бака по трубе в земле туда подает, к баням... — махнул Сидору рукой в сторону огородов. — Вот и все устройство.

Вот они, цепи, и кораба, и колеса! И как все просто! Да, теперь все казалось мне простым, и уже не это теперь занимало меня.

— Остановлю я, и все кончится. Нет воды! Значит, я здесь самый главный гвоздь. Вот и качаем с животинками. Отдохнем часок-другой и опять. Так всю жизнь и будем качать. Эй, милыя, бу-у-дя! Закачались!

Он даже не сказал — тпррру! Лошади понимали его голос. Они остановились сразу и тяжело дышали.

— Трудно, — сказал Сидор. — Оттого и калеки все. И тихие оне. Сюда попала — пропала. Как покружится, уж никуда ей дороги нет. Уж у ней в голове того... — покрутил он пальцами, — ходит все. Даже и тошнит иной раз. И за все ее старание ей капут. Откачает последний годок, и на живодерку... Вот какая им планида судьбы... Эх ты, Сахарная! И будет от тебя завтра один прах земли!

Мы молчали. Сидор отпряг лошадей, вытер потные

плечи сеном и отвел в стойла. Они шли с трудом, покачиваясь. Должно быть, у них кружилась голова.

Я смотрел на Сахарную. Она все так же трясла головой в кормушке. Голубок звонко затрепетал крыльями и опустился ей на спину. Старый Губошлеп — он стоял рядом с ней, — через перегородку, опустил ей на шею свою мягкую морду.

— Друзья, — сказал Сидор. — Никогда не погрызутся. А то лизать начнет. Стоит, дурачок, и лижет. А она только щурится. Знаю я их очень хорошо. Потому я в кавалерии служил, и мне даже вот здесь печать приложили... и глаз пулей вырвало... Здорово поцеловало! Хе!

И Сидор долго рассказывал нам, как он защищал Севастополь, как ему на глазах самого Нахимова вырвало глаз и как ему пожимали руку генералы.

Он стоял перед нами во весь рост. Теперь он не был страшен, и все мы смотрели на него, как на героя. А еще час назад...

Голубок тихо расхаживал по спине Сахарной. Милый голубок!

— Ее завтра возьмут? Сидор, возьмут ее завтра?!

— Ничего не поделаешь. Принесет три целковых и поведет... Провались они — и три целковых-то! Разве мне не жалко! Да я с ними, как с людьми живу... Только они у меня и есть... Он отвернулся к двери и стоял, насвистывая что-то.

— Какие три целковых?

— За шкуру. Так уже заведено. Ваш папашенька изволили положить. Коновал лошадь возьмет, а мне, за ее, значит, за шкуру, три рублика...

Драп исподлобья смотрел на Сидора. И Васька смотрел. Чего они так смотрят?

Было тихо на водокачке. Голуби иногда срывались и, позванивая крыльями, перелетали к лошадям и рылись в

кормушках. «Значит, и всех их так, и Губошлепа, и Стальную...» — думал я.

— Рад он! — шепнул мне Драп. — Получит три целковых...

Его глаза блеснули под насупленными бровями, и в них я узнал знакомое выражение, с каким, бывало, он налетал на мальчишек в драках.

— Так-то, молодой хозяин! — сказал Сидор, раскуривая трубочку. — Так и жизнь человеческая. Кружишься-кружишься, а потом... Только конечно, у нас отрада есть... Хозяин у нас есть... самый главный Хозяин. Он каждого приютит и обласкает... да-а... Он не скажет, что пошел, мол, вон, такой-сякой... вот тебе пачпорт... У Него даже и с самым последним человеком, даже с жуликом и еще чего хуже будет хороший разговор.

Драп спросил хрипло:

— Где ж такой хозяин живет?

— Должен знать самого главного Хозяина! А кто сказал: «придитеко Мневсетруждающие, и Я вас всех успокою»? Ну? Не слыхал?

— Нет, — сказал Драп.

— И ты не слыхал? — спросил Сидор Ваську.

— Не... — задумчиво протянул Васька.

— Ну, баринок знает. Молодой хозяин должен знать... Ужли не знаете? Как же это так?

И я не знал. Мне было стыдно, что я не знал того, что знал Сидор.

— Господь бог, Иисус Христос! — сказал мне Сидор. — Он наш главный Хозяин. Он не посмотрит, что у тебя там руки в навозе, что Сидор с лошадьми живет. У Него это без значения. А как придет Сидору конец, Он сейчас и скажет: «А ну-ка, Сидор Кривой, поди ко мне. Ты утруждался, вот тебе за это успокоение!» У нас есть, стало быть, отрада, да... А у животинки и того нет... В утруждении и болях к

ей сейчас коновал приходит, и разговору никакого...

— А может, и им... — сказал Васька.

— Много ты знаешь! Говорят тебе, что ничего! Лошадь али там что еще — это уж нам представлено. Значит, вся земля, и мы, стало быть, над всем за хозяев... Ну, мы значит...

Стальная заржала. Губошлеп вздрогнул, поднял голову и пожевал губами. Вспорхнули голуби. Этот крик Стальной показался мне печальным, жалующимся. Сахарная стояла, как и раньше, покачивая головой в кормушке.

— А что она сейчас сказала? — спросил Васька Сидора. — У них свой разговор. А только, конечно, сказала.

— А ты знаешь? — спросил Васька.

Знаю! Они все, значит, её жалеют, Сахарную. Да вот вам...

Он взял Сахарную и перевел к кормушке Стальной. Сахарная покорно сунула голову в кормушку, и мы увидели, как Стальная отстранилась и тихо фыркнула.

— Видал? Кушай, значит, напоследок! Уж насмотрелся я на них! Да вот, водил я ее прошлым летом на травку, за водокачку... На денек, бывало, отведешь... Может, она и покрепчает, с травки-то... Так что же? Заскучали эти-то. Стоят да оглядываются, — куда, мол, подевалась... Таковую ржу подняли! А вот, значит, как коновал завтра придет, биться начнут.

— Как биться?!

— Би-иться. Чуют на нем кровь, потому он лошадей бьет на живодерке. Ну, и почнут копытами стучать, сердятся...

— Не давай ее! — шепнул мне Драп, и опять блеснули его глаза. — Не давай! Ты хозяин, твоя лошадь...

Я стоял, не зная, что мне делать. Да, я был тут «молодой хозяин», я жалел Сахарную. А она выставила голову и смотрела в землю, точно раздумывала о чем-то. Впалые бока ее тяжело ходили.

— Сидор,— просительно начал я, чувствуя, как у меня сжимает в горле.— Сидор...

— Чего изволите?

— Ее надо... оставить...

— Да как же это можно-с!..— сказал он, улыбаясь.— Папашенька не велит-с... Ее и ставить-то некуда, а завтра новую приведут.

— Ты ее спрячь... Ее можно вниз поставить, туда...

Она смотрела на нас, я видел. Она понимала все, я это чувствовал. Она смотрела на меня, на своего «хозяина». И я ничего не мог сделать. Драп стоял около нее и задумчиво гладил по отвислым влажным губам.

— Плачет!— крикнул Васька,— Ей-богу, плачет... Течет...

— Уж я знаю,— говорил Сидор, выколачивая о сапог трубку.— У ней теперь на сердце-то жуть... А солнышко-то как любят! У меня солнышко в заднее окошко видать, как садится к вечеру. И бьет оно тогда прямо к стойлам. И как ударит сюда, оне сейчас головы и повернут, и глядят...

Да, Сахарная плакала, плакала беззвучно. Из воспаленных глаз, из-под волосатых век тянулись мутные струйки и собирались во впадинах морды.

— Сидор, голубчик! Ты скажи, что коновал увел ее... Я потом папашу попрошу...

Васька и Драп стояли рядом, плечо к плечу, выжидая.

— Сидор! Я тебе сахару принесу... Сидор!

— Господи, баринок! Да мне бы, верьте душе, самому бы легче было. Ничего не могу! Я должен приказание исполнять... Дисциплина! Ведь меня тогда приказчик, Василий Василиевич, в шею выгонит! Вы то подумайте! Я знаю, что ночь не усну, на сердце слеза кипит, а не могу...

— Ему денег жалко...— шипел сзади Драп.— Вали, ты здесь хозяин...

— Я хочу, Сидор!— крикнул я.— Я хозяин! Сведи ее вниз! Пожалуйста... У меня есть на голубей... у меня больше рубля есть... Сидор... Я тебе отдам...

— Мы тебе костей насобираем, гвоздей...— вмешался Васька.

— Не могу,— коротко сказал Сидор.— Говорите с папашенькой. Не могу.

Ничто не действовало. Сахарная уже отвернулась от нас и стояла понуро. Уже давно пора было уходить нам. Меня, конечно, разыскивали по соседним дворам.

Помню, мы все трое подошли к Сахарной. Прощались. Маленькая надежда еще была,— может быть, отец позволит. Но, а если его нет дома? Иногда и по воскресеньям он ездил куда-то «по делам» в своем шарабане и возвращался поздно. А завтра, раным-рано, все уже будет кончено. Последний раз взглянули мы на приговоренную к смерти.

— Осерчали, молодой хозяин...— грустно сказал Сидор.— Не моя воля.

Когда мы выходили на помост, солнце било в глаза, и травка под водокачкой была яркая-яркая, и золотые цветы были так прекрасны. Так светло было кругом, так пышно дремали под солнцем зеленые ветла на откосе. Тихие облачка недвижно стояли в небе. И было так тяжело на душе. Сидор стоял в дверях. И хмуρο было его лицо с ярким шрамом.

Мы вяло брели по огородам. Уже не было утренней захватывающей радости и ожидания таинственного,— что там? Что там,— теперь это было уже известно.

Васька было пригласил Драпа и меня порыться в мусоре, но Драп только отмахнулся. Шел и грыз ногти. А я... я думал об отце. Когда мы подошли к воротам, дворник уже сообщил, покачивая головой, что меня часа два искали по всем улицам и что мне теперь попадет.

- Проси отца! — настойчиво сказал Драп.
- А папаша дома?
- Никак нет-с... Уехали верхом в Новый Иерусалим.
- Это далеко?
- Сказывали, верст сорок... Обедать давно сели...

Серчают на вас там...

Отец уехал... Верст сорок... Драп вывертом пустил камень в воробья, но промахнулся и со звоном посыпались стекла старой галерейки.

— Я тебе все уши оборву! — кричал дворник, пускаясь за Драпом.

Я услышал только топот ног по крыше сарая и грозный крик дворника.

V

День прошел вяло. В кабинете отца темно. Отец, должно быть, придет только ночью. Я ходил из угла в угол и ждал, думая все об одном. Если бы приехал отец!

— Спать, спать!..

Я покорно бреду в детскую и задерживаюсь в темной передней. Что это? Через открытое окно я слышу голос:

— Воды отнюдь не давать! Да хорошенько проволить...

Отец! Он вернулся... Я уже слышу его быстрые шаги, уже хлопает дверь. Нет, теперь-то я не пойду спать. Сегодня воскресенье, и я знаю, что буду сидеть в кабинете долго-долго. Отец меня никогда не прогонит. Вот его свежий, веселый голос в столовой. Вот он говорит, чтобы зажгли в кабинете лампу.

— Ничего, не устал... — отвечает он на чей-то вопрос и идет в кабинет.

Я слышу, как со звоном высыпаются деньги, и начинают пощелкивать счеты. К нему, к нему...

Я проскальзываю в темный коридор, тихо вхожу в кабинет и усаживаюсь на большой клеенчатый диван.

Здесь так хорошо тихо-тихо сидеть в полутемном уголке, прислонясь горячей щекой к охлаждающей клеенке дивана. Отец сидит за письменным столом. Горит лампа. Я слышу только короткий знакомый стук отсчитываемых монет: чок-чок-чок...

На столе груда медных денег, с краю счеты. Пальцы отца ставят все новые и новые кучки медяков. Я знаю хорошо. Вон самые крупные — идут ряд за рядом, как домики с трубами. Это пятаки. Четыре столбика по десяти пятак и пятый сверху. Отец считает:

— Два с полтиной... да еще... два с полтиной...

Откладывает на счетах, и мне слышится, как и костяшки как будто повторяют за ним:

Чик-чик... два с полтиной...

Вот маленькие, «тройчатки», кучки трехкопеечных, еще дальше — совсем маленькие «семитки» — по две копейки. Много, много денег. Отец мне кажется самым богатым человеком. Каждое воскресенье он сидит вечером в кабинете и пощелкивает на счетах, складывает медные деньги в серенькие мешочки и потом отшвыривает эти мешочки с тупым звуком на пол, в уголок. Эти мешочки приносит к нему толстый приказчик Василий Васильевич. У этого Василия Васильевича какие-то странные глаза. Стоя в дверях кабинета, он всегда говорит с отцом, а одним глазом пристально смотрит на меня, а если заговорит со мной, этот глаз начинает глядеть вбок. Говоря с отцом, Василий Васильевич переминается с ноги на ногу, очень тихо сморкается в красный платок, голос его становится совсем тонким, так что я даже боюсь, что у него горло тоже сделается тонким и перервется. Он, очевидно, не любит или не умеет говорить, потому что всегда почти повторяет только одно:

— Будьте покойны-с... Понимаю-с...

При этом у него выходит:

«Будькойныс» и «пымасс».

Я знаю, что отец любит, чтоб я сидел на диване в уголку. Он всегда, бывало, кликнет:

— Эй, капитан! Лезь на свое место!

Иногда, постучав на счетах, он обернется, взглянет на меня, кивнет головой, подмигнет и опять начинает считать. И дремлетсЯ мне, и тихо, и тепло на душе.

Я сижу, а он считает, иногда спрашивает:

— Ну, как наши дела? Два с полтиной... да полтора... Ну, скажи, что хорошенького? Двадцать один, сорок два... На коленках не стоял?

— Нет... А сегодня мне Гриша песенку новую спел...

— Ага... Ну-ка... Сто сорок пять да тридцать четыре... А? Ну-ну...

— А вот так...

Анки-дранки,
Девер-друг,
Тибер-фабер,
Тибер-фук.
Ани-драни,
Ветер-сани,
И-ни-и-ни-и-ни-ам!..

— Та-ак... Хорошо.... Спутал ты меня...

— Папаша, а я сегодня на водокачке был...

У меня захватывает в груди. Я буду просить сейчас... Он сделает... А вдруг? Вдруг он скажет, как говорит иногда, — «не твое дело»?

— Мы с Васькой были и Драп...

— Что еще? Какой Драп?

— А мальчик у сапожника...

— Погоди ты... Опять все перепутал... И что ты, братец, лезешь с пустяками! Сиди и молчи.

Я долго-долго смотрю в одну точку, на склоненную голову отца с прядью волос надо лбом. Я щурю глаза, и

голова его делается маленькой-маленькой, начинает уходить дальше, дальше ...Дремлется. И вдруг перед глазами выдвигаются лошадиные морды. Я вздрагиваю и отрываю глаза.

— Папаша,— едва выговариваю я.— Папаша... Сахарную... завтра...

— Сиди смирно!

Я так ясно вижу, как завтра огромный коновал, страшный, с зверским лицом разбойника, приходит к Сидору. Он накидывает петлю и тянет Сахарную в дверь водокачки. Она упирается; но Сидор выталкивает ее. Смотрят лошади, голуби бьются под крышей. Они вылетают из двери и кружатся в воздухе, а коновал уже ведет Сахарную по огородам. Она не может идти, у ней кружится голова, она ничего не видит. А коновал тянет и тянет. Он нагнул голову и не замечает, как Васька и Драп подкрадываются с боков, а я с луком и стрелами выскакиваю из-за кучи навозу. У Драпа чугунка. Мы отбиваем Сахарную, коновал гонится, но у него очень тяжелые сапоги, а мы несемся во весь дух, и Сахарная, конечно, понимает, в чем дело, и напрягает последние силы. Гришка помогает нам запереть ворота.

Тут мысли мои обрываются, я вздрагиваю. Отец уже два раза окликнул меня.

— Заснул, что ли? Ну, иди, получай...

Но мне совсем не весело. Бывало, я всегда с нетерпением ждал этого, срывался с места и смотрел, сколько «осталось». Все копейки с целых рублей шли в мою глиняную копилку на разные разности.

— Счастье тебе сегодня, восемьдесят семь копеек... Ты что это, поросенок? голова болит, а?

Он взял меня двумя пальцами за щеку и притянул. Милые, родные глаза! Они давно уже закрылись... Они не видели, как «поросенок» ходил в гимназию. Они не

видели, с какой тоской смотрел этот «поросенок» на милые ушедшие черты... Родные руки! Их нет, и никто не притянет за щеку и не скажет:

— А? Ты что?

И не посмотрит так.

— Ты что закис? а?

Ласковый ли голос или этот добрый, заглядывающий в душу взгляд, невеселые ли впечатления утра... не знаю. Я заплакал. Стиснуло в горле и зажгло в глазах. Я припал к его груди, горячей щекой к холодной цепочке часов. Пуговка жилета давила мне в висок, но я не мог оторваться. Мои пальцы сжимали руку отца, и я тискался ближе и ближе к нему, теснее к его груди. И то, что я плакал, и то, что так хорошо было плакать на родной груди, сжимать эту руку, которая всегда, всегда ласкала меня, — единственная рука! — все это больше и больше давало волю слезам. Впервые в тот вечер в полутемном кабинете почувствовал я великую силу тихих детских слез. И позже плакал я; но как тогда я никогда не плакал и не заплачу больше...

— Дурашка... — услышал я тревожный голос. — Что с тобой, дурачок?.. Обидел кто?

Он был простой души, мой отец. Он ничего не понимал в тонкостях душевной жизни. Он был мягок сердцем, мой простой отец... Он был чуткий и добрый человек.

— Э, рева, — говорил он, трогая пальцем мои мокрые щеки и размазывая по лицу слезы. — Дождь пошел! Да ты что же это?!

Он подхватил меня под мышки и поднял высоко-высоко к потолку. И опустил сразу.

— Ну? Садись... Садись ты, братец мой, сюда на колени и выкладывай... Ну, кто обидел?

Я еще не мог говорить. Я только замотал головой

и спрятал лицо под его руку. Он ущипнул меня за щеку.

— Ну, что дуришь! Мальчишка, а ревешь... Мальчонка! Он притиснул мою голову локтем.

— Ну, говори! Ну? Живо! Задушу!..

Когда я плакал и жался к нему и чувствовал идущую от него на меня ласкающую теплоту, я ни о чем не думал. Так хорошо было. Но его тревожный голос нашел в моей душе тревожное, и я сказал:

— Сахарная... ее на живодерку...

Он отнял руку.

— Сахарная? Какая еще Сахарная? Что ты говоришь?..

— Лошадь... на водокачке... Сидор говорит!..

Он поднял голову и посмотрел на меня.

— Та-та-та-та... Да, вон что!..

Глядел на меня долгим, задумавшимся взглядом.

— Жалко? — спросил он серьезно.

Жалко! Как он сказал! Снова внешним дождем брызнули слезы.

— Да... да...

Я сполз с его колен... Я прижимался лицом к его ноге, а рука цепляла часовую цепочку. Он поднялся и стал ходить по кабинету. Толкнул ногой мешочек с медяками. Ходил, насвистывая любимую песенку:

Вот барка с хлебом небольшая,
Кули и голуби на ней,
И рыбаков большая стая,
Уныло ловит пи-ска-а-рей...

Я стоял у стола и смотрел. Я ждал. Вдруг он оборвал песенку, знакомым резким жестом, ладонью, распахнул дверь и крикнул:

— Позвать ко мне Василья Васильича!

И я услышал, как в дальних комнатах повторил голос:

— Василья Васильича наверх!..

Отец продолжал ходить и насвистывать. Взглядывал на меня, посмеиваясь в усы.

— Чего изволите?

Неслышно по ковру из темноты выдвинулся Василий Васильич, остановился в дверях и выгнулся, заложив назад руки.

— Был на водокачке?— спросил отец, продолжая ходить.

— Был-с... будьте покойны-с...— отвечал Василий Васильич, вытягивая шею, точно боясь услышать что-то необыкновенное, и готовился принять неожиданное.— Каждый день-с... будьте покойны-с...

— Что там за Сахарная? Готова, что ли?

— Так точно-с... готова-с... Коновал завтра берет... Пять лет ходила, будьте покойны-с... Уж заменили-с...

— Оставить.

У меня упало сердце, толкнулось и забилось часто-часто. Отец продолжал ходить, а Василий Васильич втянул голову в плечи и стрельнул в меня глазом. Он подался вперед и нагнулся, точно хотел упасть или побежать. Но он не сделал ни того, ни другого. Он как-то ловко перекинул голову к плечу и сказал:

— Понимаю-с... Завтра Ленька Цыган свежую приведет, сторговали-с...

— А разве я говорю — не надо?

Молчание. Голова Василия Васильича перекидывается на другое плечо.

— Будьте покойны-с... А ту куда же прикажете? Ваську-с? Сахарную-с?

— А вот... спроси его,— показал отец на меня.— Спроси...

Василий Васильич снова вытянул голову из плеч, и его глаз стрельнул к печке.

— Ну, говори! распоряжайся... Василий Васильич ждет...

Василий Васильич погнулся ко мне, показывая своей напряженной фигурой, что ждет. Он сощурился и подмигнул в пространство.

— Так точно-с... Ждет-с... Что прикажете-с? — говорил он, поглядывая по сторонам.

Я переводил глаза с отца на Василия Васильича, на его хорошо начищенные сапоги и свесившуюся серебряную цепочку с фиолетовой передвижкой и кисточками. Пожал плечами.

— Она будет жить... Ей только немного овса... сена...

— Слышал? — в тон повторил отец, — ей только немного овса, сена...

— Понимаю-с... Будьте-покойны-с...

— Ступай.

Камень свалился. Я стоял у стола и смотрел на отца. Он смотрел на меня, склонив голову набок, словно высматривал что или думал о чем-то. О чем он думал? Всегда занятый, только на несколько часов по праздникам отрывавшийся от своего «по делам», он и в эти короткие минуты прочно врос в мое сердце. Я смотрел на него. Он стоял спиной к печке и так хорошо смотрел. Вдруг лицо его стало бледнеть, он откинулся головой к изразцам и приложил руку ко лбу.

Другая рука стала быстро-быстро ощупывать стену. Что-то страшное происходило с ним.

— Папаша!

Он по стенке добрался до уголка и опустился на стул. У него закружилась голова. Я помню этот первый приступ болезни: тихий полутемный кабинет, лампа, я у стола, и он с ладонью у глаз.

— Ничего, прошло... Ездил сегодня много... Ну, поди-ка, братец, сюда... Так. Значит, теперь твоя Сахар-

ная будет жить на водокачке... И мы с тобой будем жить... Долго жить будем. Будем большие, в шарабане будем ездить, мосты строить... Ну, целуй, рева! Ну, крепче!

Я целовал его в колючие щеки. Я хотел быть большим-большим. Я хотел так сжать его... сколько хватило бы силы. И никому, никому не отдавать...

И не было у меня силы удержать его. Он скоро ушел... совсем.

VI

Утро сверкает, теплое утро конца апреля. Тополя под окном заглядывают в комнаты золотистыми клейкими почками. Веселым молодым звоном играют колокола, отзвук ушедшей Пасхи. Вербa в бутылочке дала белые ниточки корешков, и ее узенькие листочки на красных ветках так весело сквозят на солнце. Воробьи унизали ветку бузины под окном живой серой гирляндой, орут и качаются, спихивая друг дружку. Потягивает навозом со двора, влетит струйка холодка по ветру, должно быть, от грязноватых полосок обледенелого талого снега, еще уцелевших у заборов в тени. Я смотрю, как хороша золотистая пыль под метлой Гриши. Пыль! Первая пыль!.. Двор совсем обсох, и я рад.

Нет, не этому я рад. У нас теперь своя лошадь. Пусть она старая, больная. Но она наша теперь. Я спешу выводить палочки и сажаю кляксы. Я думаю: нет, не палочки это. Это все странники идут друг за дружкой на богомолье к Троице. Не могут же они быть одного роста, и они выходят у меня разные, кривые и прямые, с хвостиками. Они, как слепые, хватаются друг за друга и на конце строки спускаются под горку. Это мне нравится, но не нравится моей крестной, которая учит меня и всегда гладит по голове. Она подарила мне на Пасхе яичко с

сереньким растягивающимся червячком, очень жирным, с черными глазами и язычком из красной фланели.

Палочки готовы, идут. Теперь куму-лису. Уже раза два крестная прогоняла меня учить басню, но теперь дело идет бойко. И ничего-то трудного! Там, где кума-лиса залезла в сад, должно быть было так же хорошо и светло и так же шумели вороны на бузине. И горели на солнце сочные кисти... Сочные... И я вижу эту лису, как она лезет в сад, и язык у ней красный, как у моего червячка. И сад-то такой, как у старой Мирониhi, где бузина и черемуха, и разбитый серый забор. Там летом сливы тоже горели под солнцем; и мы с Васькой ходили и засматривались, как и кума-лиса. Готова басня, я бегу и отвечаю урок, и они, странники, выравниваются под опрятной рукой.

Теперь свобода! Вот и грязная лесенка сапожной мастерской, три каменные скользкие ступени. Здесь никогда не бывает сухо. Рваная, обитая рогожей дверь. Уже на лестнице слышу я постукивание молоточков и отголосок песни, и запах вара. Распахиваю дверь. Вон Драп, скорчившись, сидит под окном на липке. Он упер в грудь сапог и что-то заколачивает в него. Васька стоит у столба и натирает варом дратву. Бледные и лохматые мастера обрезают подметки, бьют молоточками и поют. Прохор ругает какого-то босого человека, который сидит на окне и болтает ногами.

— Васька,— кричу я.— Наша Сахарная!

Драп обертывается и трясет головой. На его лице сияние. Васька строит рожи и поглядывает на Прохора.

— Наша Сахарная! Папаша велел...

— Василья!— строго кричит Прохор.— Дело делай!

Если бы побежать всем! Сейчас нам Сидор поет про барабаны, скрипят колеса, и Губошлеп ходит по кругу. А Сахарная все так же стоит. Но нет, теперь нельзя. Драп уже согнулся над сапогом. Только к вечеру он вы-

берется из мастерской. Но Ваську я сманю после обеда. Он уже мотает мне головой и в нетерпении стучит ногами.

— Сахарную не поведут на живодерку, верно... — говорю я и Прохору.

— Ладно, ладно... Дело у нас... Васька!

Через час мы уже мчимся по огородам. Драц, конечно, нет, но он думает вырваться на минутку. Сколько солнца и как подросли лопухи! Как пахнет травой! Тысячи желтых глазков, точно малюсенькие подсолнечники, — одуванчики глядят с откосов. Васька хлопает меня по спине и называет молодцом. Я тоже хлопаю его, и мы валимся на мусорную кучу. Вот и водокачка. Губошлеп и Стальная ходят по кругу, опустив голову, Сидор чинит хомут.

— Здравствуй, Сидор! Сахарная наша!

— Наша! — повторяет и Сидор.

Он бросает хомут и отдает мне честь.

— Здравия желаю, всякого добра, бычка-сверчка, соли два овина, золото-серебро да новое ведро, барана половину, семьсот поросят — одни ножки висят! Ррад расстарраться!

Он выпаливает все единым духом, даже краснеет его лицо, и мне так нравится, что я прошу его повторить, но у него уже не выходит так хорошо.

— Эй, старуха! Кланяйся! Быть бы тебе сегодня у праздника.

Он хлопает ее по крупу, но «старуха» все так же качает головой.

— Уж был давеча чем свет Василь-то Василич, сказывал. Уж и сам я рад!

Я вытаскиваю из кармана вчерашний пирог с капустой и даю Сидору. Он берет его осторожно, двумя пальцами, и кладет на полочку, где у него стоят грязные пузырьки с черной жидкостью.

— Вот спасибо, на заедочку пойдет. Стало быть, упро-

сили папашеньку... Они доброй души, и не ждешь, а... Теперь ей, значит, дармовой паек пойдет... Хорошо...

— А она долго будет жить?

— Сколько ей положено, до самой смерти.

— Дай нам ее, мы ее на лужок сведем...

Сидор колеблется. Но, во-первых, пирожок смотрит с полки; во-вторых, такой неожиданный оборот дела.

— Ну, что же... Я вам ее сведу сейчас. А тот-то уж приходил, коновал-то... Ра-аным-рано прилетел... Чуть-чуть-то Василь Василич захватил.

— Ну? Что же он, когда узнал?

— Серчал. «Что, в сам деле, говорит, беспокоите даром!» Ему с заставы-то пропереть тоже... Да досадно: с ей-то он бы не три рубля выгнал, а десятку...

Я вспомнил о трех рублях Сидора. Нет, ничего. Сидор очень весел. Он так ласково выпугнул голубей из кормушки и даже поет:

Сы-то-нет, сизый голубочек...

Сы-то-нет ён и день и ночь...

— Н-но-о, выходи! выбирайся на дачу.

Сахарная закачалась и уставилась на нас. Нет, она все плачет.

— Сидор, она плачет...

— С радости. Она очень благодарна. Н-но, гуляй! Пять годов по земле-то как следует не хаживала...

Да, все они уже не возвращались с водокачки на волю. Их избегали выводить. «Чтобы не расстраивались», — говорил Сидор. «С чистого воздуха у них кровь бунтует, и назад не идут. Не введешь».

Он повел Сахарную. В дверях ударило солнце в глаза. Привыкшая к сумеркам водокачки, куда солнце заглядывало только иногда редкими полосами, Сахарная остановилась. Взмотнула головой к небу и закрыла глаза.

Ее ноздри раздулись, ловили бодрый весенний воздух. Затрепетали уши, слыша вновь забытые звуки, доносившиеся от мостовой. Она вся дрожала.

— Очумела!— сказал Сидор.— Отойдешь... Но-но-о!

Она пошла, покачиваясь, цепляя копытами за бревна помоста. Вот и земля, вот и свежая травка лужка у прудика за водокачкой.

— Ну, вот и пасите,— сказал Сидор.

Сахарная осматривалась по сторонам, прислушивалась. От моста донеслось ржание лошади. Сахарная передернула ухом. Сказало ли ей что это ржание,— не знаю, но она открыла рот, показав остатки съеденных зубов, и фыркнула.

— Обойдется... Ишь ты, ишь...

Она нагнула голову и обнюхала землю. Она пыталась ухватить травку. Мы живо помогли ей. Мы совали ей силой в рот молодую крапивку и просвирник, серебристые почки лопуха. Она смотрела на нас, подымая тяжелые веки, и в зрачках ее видел я голубое небо, красное здание водокачки и улыбающуюся Васькину рожу.

Мы пасли Сахарную. Развалились на травке и смотрели. Сидор ушел. Постояв и покачавшись, Сахарная подогнула ноги и повалилась на бок. Потом опрокинулась на спину, дрыгая ногами, и терлась головой о землю. А мы смотрели. Поскрипывала водокачка.

Чьи-то руки закрыли мне глаза. Я услышал испуганное восклицанье Васьки.

— Так это твоя Сахарная?

Отец! Он так незаметно подкрался к нам.

— А это что за зверь?— спросил он, указывая на Ваську.

— А я с его двора... У нас сапожники...

— Вытер бы лучше нос. Эй, Сидор!

Сидор появился в дверях водокачки, быстро сбежал с помоста и поклонился.

— Небось ругаешься, а? Где трешница-то? Его благодари.

— Я? Да я... я р-рад...

— Ладно, заговаривай зубы. На, на, не ной...

Он достал бумажник и отдал Сидору зеленую бумажку.

— А то еще, чего доброго, удушит твою Сахарную... — подмигнул мне отец.

— Я? Да я разве... Господи! Шутить изволите. Да я... Я когда под Черной речкой в бой ходил... одного задел штыком, так он мне и сейчас представляется... Так что враг... А не то что...

— Ну, рассказывай сказки... Известный душегуб. Только помни: мы ее у тебя купили. Ну, ступай. Плачет по тебе водокачка. А ты чего рот разинул? — строго крикнул он на Ваську. — На лбу-то у тебя пироги пекли? Сжег? Получай на пряники!

Он порылся в жилетном кармане и дал двугривенный. Как хорошо помню я его посмеивающиеся глаза и пальцы, роющиеся в жилетных кармашках. Это был человек, который любил давать.

Поглядел кругом, вдохнул свежего воздуху.

— Дача у вас тут. Ну, прощай, некогда мне...

Вбежал на водокачку, пробыл с минуту, покричал за что-то на Сидора и обычной беглой походкой направился по откосу. Я смотрел, как он сел в поджидавший его шарабан. Поехал, конечно, «по делам». Смотрел я на его белый парусинный пиджак, как мелькал он сквозь желтые балки моста. Пропал.

Это короткое посещение обвеяло меня теплым, незабываемым светом. Он забежал к нам. Он урвал минутку. Он проезжал по улице и, должно быть, заметил меня. Вспомнил о вчерашнем вечере в кабинете. И отодвинулась

тогда от него хлопотливая деловая жизнь. И, конечно, он видел милые желтенькие цветы, зелень и небо. Я помню, как сказал он:

— Да у вас тут дача...

— Дву-гри-венный! — протянул Васька. — Разве груш купить? Никак, Драп бежит! Он, он!..

Действительно, за красными перилами по улице бежал Драп. Он несся стрелой, остановился против водокачки и, заметив нас, ринулся комом с откоса, попал в лопухи, потерял опорку и искал.

— Драп! Зде-есь!!

— Уффф... За гвоздями... послал... а я на минутку... Ну-ка... Эн она какая...

Подошел к Сахарной, сорвал лопух, присел на корточки около ее головы и совал ей в рот.

— Хорошо тут... Бежать надо...

— Беги, Драп, — тревожно говорил Васька. — Влетит. Лучше беги... Смотри-ка... двугривенный. Его папаша дал...

— Угости-и... Печенки купим, а? Я всегда угощаю...

— Ладно. Стручков черных возьму еще.

— Побегу я... Слышь, Васька! — крикнул он на бегу, — баранок бы еще?

И высоко подкидывая опорки, Драп умчался стрелой.

VII

Так мы освободили Сахарную.

Лето прошло незаметно. Чуть не каждый день приходили мы с Васькой пасти Сахарную часок-другой. Она как будто окрепла. Так, по крайней мере, уверял Сидор. Она будто бы уже не шепталась по ночам и лучше стала обращаться с овсом. «Меньше расшвыривает».

Она иногда щипала при нас травку, но больше лежала на боку, припав головой к земле. Да, она все же была боль-

на, больна старостью. Здоровая лошадь редко ложится, — уверял Сидор. Насидевшись около нее, мы с Васькой отпавлялись бродить по огородам, забирались в заросли спаржи, как зайцы, грызли капустные листья. Мороженым угощались почти каждый день, ибо мусорные кучи оказались неисчерпаемыми. В четыре руки мы выуживали из них по нескольку фунтов ржавых гвоздей и обрезков старого железа и множество пузырьков и баночек из-под мази. Сбыт был обеспечен в железной лавочке и аптеке. По праздникам к нам примыкал Драп и Сидор, и тогда под водокачкой протекали такие часы, как никогда. Сидор пропел нам все свои песни и даже показал, как он объяснялся с французами, когда был в какой-то передовой цепи.

— Мы это живо, потому они очень на это способны. Я ему говорю, стало быть: вот, мол, трубочка-табак, — а он головой качает, понимает, конечно. По-ихнему это будет «фома»... Да и много наших разговоров. Солдат и по-ихнему солдат. Бутылка там, офицер — все едино. Только, конечно, чисто они не могут разговаривать. Водка у них чудно выходила: «удиви» да «удиви»! Как скажет — удиви, ну и дашь из горлышка. Народ занятный!

— Ну, как твоя Сладкая? — спрашивал отец.

— Не Сладкая, а Сахарная...

— Уж и Сахарная! Еще не растаяла?

— Нет. Она еще долго проживет.

Но она прожила недолго. Она «уснула», как говорил Сидор, в начале августа. Три дня я сторожил ее последний час, забегая на водокачку. За неделю она перестала есть. Стояла понурая, и Губошлеп фыркал и часто обнюхивал ее шерсть.

— Скоро, — говорил Сидор. — Чуют. Лошадь за неделю может чуют. Ночью шибко все фырчат начинают. Прощаются.

Дня за три до смерти Сахарная как легла в стойле, так и не вставала. Помню, в воскресенье мы все трое пришли на водокачку.

— Готова, — встретил нас Сидор. — Успокоилась совсем.

— Умерла?

— Околела. Приказала долго жить. Вот пожалуйста...

Мы смотрели. В своем узком стойле лежала она, вытянув в струнки ноги, упираясь в перегородку. Блестели подковы. Сильно ввалились бока. Голова ее с закушенным синим языком лежала под кормушкой на соломе. Возле нее ходил голубок, хлопотливо подбирая овес. Другой сидел на брюхе и обирал перышки. Было тихо на водокачке. Лошади — Губошлеп, Вот-те-на, Стальная и еще новая — Цыганок похрустывали в стойлах, как будто ничего не случилось.

— Маленько повздыхала ночью, слышал я... Так вот: у-у-ухх... А потом и затихла. Да-а... Прошла свой круг жизни до предела судьбы. Старательная была и мягкая по характеру. Теперь и коновал может свое дело зачинать...

Мы все стояли молча. Совершилось то, что должно было совершиться. Было грустно, да... и все же было хорошо на душе.

— Царство небесное... — сказал Васька.

— Дурак! — покачал головой Сидор. — Чай, не человек.

Васька ничего не сказал. Драп смотрел исподлобья.

Наши путешествия на огороды скоро прекратились. Подошла осень. Дожди развели на огородах грязь. Зима занесла водокачку снегом, и Сидор сидел теперь одиноко с лошадьми. И голуби, должно быть, жались друг к дружке на стропилах. И тянули лошади по кругу, как всегда, и бадьи одна за другой, плескаясь, совершали круг свой.

Это все было, было. И не хочу я поставить последней точки, не могу. И старый Сидор, и Васька, и Драп, и дорогая тень стоят передо мной и ведут мою руку.

Прошел год, и я уже не ходил в кабинет и не присаживался в уголок дивана. Не стукали счеты. Темный стоял кабинет вечерами, и жизнь иным лицом глянула на меня. Робко подходил я к знакомой двери и слушал. Нет, пусто там, пусто... Тьма смотрела на меня, и я смотрел на тьму. И слушал. Нет, пусто там, пусто... И кругом пусто и холодно.

Вскоре заболел и старый Сидор, и его отвезли в больницу. Он пролежал до весны, а его место занял кто-то другой, но я не ходил больше на водокачку. Сидор унес оттуда живую душу, и все там казалось мне чужим и непохожим на прошлое.

По весне он пришел к нам и ночевал на кухне. Ему предложили место ночного сторожа, но он отказался.

— Мне бы опять к лошадям, а так я с людьми не могу, отвык.

Помню, сидел он в кухне за столом. Говорил, что пришел проститься.

— Пойду я теперь, баринок,— говорил он мне, дую на блюдечко с чаем,— пойду я в последний круг моей жизни. Покружился, будет. Хочу теперь о душе похлопотать, чтобы туда с чистым пачпортом заявиться. Пойду, значит, к Троице, потом в Соловки, потом в Киев. Обсмотрю всю землю. На солнышко погляжу...

Как я хотел идти с ним, уйти... Далеко, далеко. Идти и глядеть на солнышко.

У него уже была палка с железным наконечником и клеенчатая сума на ремнях. Мы хорошо простились.

Больше я не видал его и не знаю, что с ним случилось.

Сапожники съехали от нас, и я потерял из вида и Ваську, и Драпа.

Много лет прошло, и много перемен произошло в моей жизни.

Как-то зашел я в своем же районе в сапожный магазин заказать болотные сапоги. Вышел хозяин.

— Сейчас мерочку сниму. Эй, Василья!

Знакомый запах кожи и вара. Пахнуло далеким, знакомым.

Рослый худощавый парень вышел из боковушки с полоской бумаги.

— Вот с их... Болотный сапог...

На лбу красное пятно ожога. Василий... Смотрел я на парня. И вдруг хлынуло прошлое. Он вытер руки о фартук и мерил.

Он, он...

— Послушайте... Может быть, я ошибаюсь... Вы не жили...

Я назвал улицу, дом.

— Как же-с, жили... Давно, я тогда еще мальчишкой был. А что-с?

— А это ваш отец?

Они оба смотрели на меня.

— Верно-с, это мой папаша...

Я узнал теперь Прохора. Он сильно постарел и носил очки.

— А вы кто же такие будете?

Я назвал себя. Я напомнил о старом дворе, о бабках, о водокачке.

— Ба-а-тюшки... Как не помнить! Господи, и не узнаешь...

Мы все вспомнили. Такое хорошее, счастливое и светлое...

— А еще с нами был... помните... Как его звали-то... Еще с чугушкой все ходил...

— Драп! Да он у нас живет! Петр!— крикнул Василий.— Иди-ка сюда! Посмотри-ка... Узнаешь?

На меня смотрел высокий, худой, с впалой грудью, человек. Это Драп? Такой крепкогрудый, точно слитой мальчуган, которого все так боялись в драках? Бледный, с впалыми щеками, он стоял у притолоки, покашливая в руку и внимательно разглядывая меня.

— Нет,— сказал он.— Кто ж это?— смущенно спрашивал он.

Мы напомнили ему.

— Ба-а-тюшки!..

Он весь точно расцвел. Щеки порозовели, глаза за-светились; я почти уловил бойкость взгляда прежнего Драпа, но все же тень печали не уползла с его лица. Он хорошо помнил все. Он помнил больше нашего.

— Было...— сказал он и сжал губы, даже закусил.— Как же, как же... Еще Сахарная-то... А уж теперь там и огородов нет. Все прошло.

— Да что такое с вами? Вы, должно быть, больны?

— Да, грудь вот болит...— сказал он, тряхнув головой, и засунул обе руки к груди, за грязный высокий фартук.

Молчание. Постукивали так знакомо молоточки за перегородкой. Я не знал, о чем говорить: такой огромной волной хлынуло светлое и печальное. Прошрое хлынуло. Василий снял уже мерку и стоял, перебирая в пальцах полоску. Прохор из-под бумажного прогоревшего абажура лампы, облокотившись на конторку, смотрел на меня с любопытством из-под очков. Драп стоял у притолоки и смотрел вниз и вбок, на мою ногу в носке. Думал о чем-то. Тихая мечтательная улыбка была на его лице.

— Да, да... Сахарная... Еще меня тогда этот старичок сцапал...

Сахарная... Я смотрел на Драпа. Надорвался человек. Что его так сломило? Тяжкая ли работа, недоедание, мыканье ли в плохой одежонке в холоде и под дождем, спанье ли по сырым подвалам? Все вместе? А впереди...

Смотрел я. Тихая, грустная улыбка. О прошлом вспоминает. О чем же и вспоминать, как не о прошлом?! Ведь впереди — быть может, печальный круг жизни, — как сказал бы Сидор. Да, круг. Огромный круг исполинской водокачки — жизни. И идет Драп по этому кругу, идет... Только встретит ли он в конце пути три пары светлых глаз, как когда-то встретила старая кляча? И засветит ли солнце на последние шаги хмурой жизни? Милый Драп!

Мы крепко пожали друг другу руки. Все трое. И улыбались, когда держали свои руки. Прошлому улыбались. Хорошему, светлому. Счастье, если есть в прошлом хоть небольшое светлое. Оно издалека бросает свет свой на раздвигающуюся впереди, еще непройденную дорогу и дарит улыбкой, как в пасмурный день солнце вдруг выбросит луч из тучи. Прошлое, детское! У нас троих была его чудесная, светлая страница... О, как надо беречь его, беречь это бесценное, детское!.. И ярки, и дороги эти слова бессмертного поэта:

«Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое, ожесточающее мужество, — забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге: не подымете потом...»

Прошло. И уже не крикну я:

— Васька, на водокачку!

И Драп не скажет:

— Бей с одной да я со-с-пар! — как, бывало, на дворике, под солнцем, когда играли в бабки.

И человек в белом парусиновом пиджаке не ущипнет за щеку, не притянет голову к жилету и не скажет:

— Ты что это, кислота? А?..

Нет... Прошло.

Теперь мы все смотрим друг другу в глаза, припоминаем и все думаем грустно:

— Прошло...

СОДЕРЖАНИЕ

Мой Марс	3
Мэри	39
Последний выстрел	89
Мартовская капель	118
Егорьев день	125
Мартын и Кинга	132
На Москва-реке	144
Веселая работа	155
Как я встречался с Чеховым. За карасями	162
Весенний ветер	169
Как мы летали	186
«Наполеон»	218
Русская песня	229
Светлая страница	233

Шмелев И. С.

Ш72 Мой Марс/Сост. П. Г. Горелов; Худож. С. Трофимов; Оформл. Г. И. Метченко.— М.: Сов. Россия, 1990.— 288 с., ил.

Иван Сергеевич Шмелев (1873—1950) — выдающийся русский писатель, известный современному мировому читателю прежде всего крупнейшими романами: «Лето Господне», «Богомолье», «Солнце мертвых» и др. Но все же самое заветное в его творчестве — даже периода эмиграции — всегда уходит корнями в незабвенную страну детства, жизнь старой дореволюционной Москвы. Удивительная красота нравственного чувства, внутренняя деликатность, точная наблюдательность, доброта и, главное — пронзительная чистота сердца, столь нужная нашему молодому современнику, — вот что покоряет читателя в лучших детских произведениях И. С. Шмелева.

Ш 4803010101—368 205—89
М-105(03)—90

P1

ISBN 5—268—00803—х

Для детей старшего школьного возраста

Иван Сергеевич Шмелев

МОЙ МАРС

Редактор К. К. Покровская

Художественный редактор М. В. Таирова

Технические редакторы Н. Степаненкова, Л. А. Фирсова

Корректоры Т. А. Лебедева, М. Е. Козлова, И. М. Бакилова

ИБ № 5499

Сдано в набор 27.10.89. Подп. в печать 04.04.90. Формат 70×108/32. Бумага типогр. № 2. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. п. л. 12,6. Усл. кр.-отт. 12,95. Уч.-изд. л. 12,67. Тираж 500 000 экз. (3 завод 300 001—500 000 экз.). Заказ 1179. Цена 55 к. Изд. ннд. ЛД-242.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Госкомиздата РСФСР. 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Госкомиздата РСФСР. 144003, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

55 коп.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»





Maxwell

BELLEVILLE

